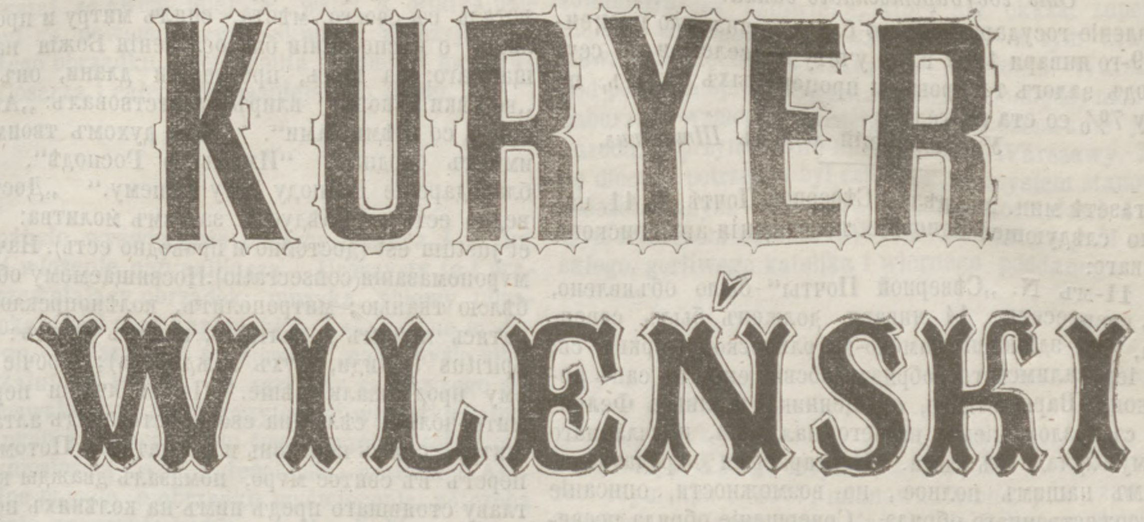
№. 8. ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ. 1862. PIĄTEK, 26 STYCZNIA. №. 8.

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ



ГАЗЕТА
ОФФИЦІАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ВЫХОДИТЪ ПО ВТОРНИКАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ.

Цѣна на мѣстѣ: За годъ 10 р. За полъ года 5 р. За четверть года 3 р. За 1 мѣсяцъ 1 р.
Съ пересылкою: За годъ 12 р. За полъ года 6 р. За четверть года 3 р. 50 к.
За объявленія: За строку изъ 40 буквъ платится 17 коп. сер.

GAZETA
URZĘDOWA, POLITYCZNA I LITERACKA.

WYCHODZI WE WTORKI I PIĄTKI.

Cena na miejscu: Roczna rs. 10, Półroczna rs. 5, Kwartałowa rs. 3, Miesięczna rs. 1.
Z przesyłką: Roczna rs. 12, półroczna rs. 6, kwartałowa rs. 3 kop. 50.
Za wiersz ze 40 liter ogłoszenia płaci się k. sr. 17.

СОДЕРЖАНІЕ:

TREŚĆ.

Часть оффиціальная.

Ст.-Петербургъ, 23 января.

Высочайшею грамотою, 12-го января, Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена *св. Станислава первой степени*, дѣйствительный статскій совѣтникъ, заслуженный профессоръ и академикъ Императорской медико-хирургической академіи *Эдуардъ Эйхвальдъ.*

— Высочайшимъ указомъ, 22-го декабря 1861 г., всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена: *св. равноапостольнаго князя Владиміра третьей степени*, Подольскій гражданскій губернаторъ дѣйствительный статскій совѣтникъ *Рудольфъ Брауншвейгъ.*

— Указомъ правительствующаго сената, 18-го декабря 1861 г., за выслугу лѣтъ, произведены: по Виленской палатѣ государственныхъ имуществъ и ея вѣдомству: въ надворные совѣтники — дѣлопроизводитель палаты коллежскій ассессоръ Осипъ *Струтынскій*; въ коллежскіе ассессоры—титулярные совѣтники: дѣлопроизводитель палаты Владиславъ *Шиллингъ*, помощники окружныхъ начальниковъ—Свенцянскаго Адольфъ-Петръ *Жонголловичъ* и Вилейскаго Карлъ *Павловичъ*; въ коллежскіе секретари—помощникъ столоначальника палаты, губернскій секретарь Михаилъ *Марциновскій*; въ губернскіе секретари—коллежскіе регистраторы: палаты—контролеръ Ромуальдъ-Максимиліянъ *Массальскій*, исправляющій должность столоначальника Юліянъ *Альхимовичъ* и состоящій въ должности помощника столоначальника Феликсъ *Дунай*, канцелярскіе чиновники: палаты Каэтанъ *Сасиновичъ*, окружныхъ управленій—Свенцянскаго Петръ *Ясевичъ* и Трокскаго Николай-Яковъ-Брунонъ *Піотровскій*; въ коллежскіе регистраторы—канцелярскіе служители палаты Мечиславъ *Табенскій*, Мацѣй-Іосифъ *Мѣдзыблоцкій* и Степанъ *Маршевскій*;—по Виленской казенной палатѣ и ея вѣдомству: въ коллежскіе секретари—исправляющій должность акцизнаго надзирателя по Вилейскому уѣзду, губернскій секретарь Михаилъ *Немира*; въ губернскіе секретари—канцелярскій чиновникъ палаты, коллежскій регистраторъ Антоній Францъ *Гадзевичъ*; въ коллежскіе регистраторы — канцелярскіе служители при акцизномъ надзирателѣ по Вилейскому уѣзду: Антонъ *Рудзинскій* и Антоній *Славинскій*;— по Виленской евангелическо-реформатской коллегіи: въ губернскіе секретари—коллежскіе регистраторы: канцелярскіе чиновники—Станиславъ *Сестржемцевичъ* и Іосифъ *Козаринъ*;— по вѣдомству министерства юстиціи: въ надворные совѣтники—бывшій предсѣдатель Могилевской палаты уголовнаго суда, коллежскій ассесоръ Иванъ *Гриневичъ*; по Кіевской губернской почтовой конторѣ: въ коллежскіе секретари—экспедиторъ губернской конторы, губернскій секретарь Иванъ *Яворскій*;— по Ковенской губернской почтвой конторѣ и ея вѣдомству: въ коллежскіе регистраторы—старшій сортировщикъ губернской конторы Александръ *Вильканецъ* и Смильговскій станціонный смотритель Станиславъ *Малиновскій*;— произведены въ отставку: по Ковенской губерніи: въ надворные совѣтники—бывшій попечитель сельскихъ запасныхъ магазиновъ по Шавельскому уѣзду, коллежскій ассессоръ Устинъ-Валеріанъ *Норейко*; въ коллежскіе секретари—бывшій канцелярскій чиновникъ Вилкомірскаго земскаго суда, губернскій секретарь Клементій *Мончунскій*;— по вѣдомству Могилевской губернской посреднической коммисіи: въ губернскіе секретари—бывшій писецъ кан-

Dział urzędowy.

St. Petersburg, 23 stycznia.

Przez Najwyższy dyplomat, 12 stycznia, najłaskawiéj został mianowany kawalerem orderu *Św. Stanisława pierwszéj klassy*, rzeczywisty radca stanu professor zasłużony i akademik Cesarskiéj akademji medyko-chirurgicznéj Edward *Eichwald.*

— Przez Najwyższy ukaz, 22-go grudnia 1861 r. Najłaskawiéj został mianowany kawalerem orderu *Św. równego apostołom księcia Włodzimierza trzeciéj klassy*, Podolski gubernator cywilny, rzeczywisty radca stanu Rudolf *Braunszwejg.*

— Przez ukaz rządzącego senatu, 18-go grudnia 1861 r., za wysługę lat zostali mianowani: w Wileńskiéj izbie dóbr państwa i w jéj zawiadowstwie: radcą dworu—sekretarz izby, assesor kollegjalny Józef *Strutyński*; assesorami kollegjalnymi—radcy honorowi: sekretarz izby Władysław *Szylling*, pomocnicy naczelników okręgowych—Święciańskiego Adolf-Piotr *Żągołłowicz* i Wilejskiego Karol *Pawłowicz*; sekretarzem kollegjalnym—pomocnik stołonaczelnika izby, sekretarz gubernjalny Michał *Marcinowski*; gubernjalnymi sekretarzami — regestratorowie kollegjalni: izby—kontroler Romuald-Maksymilian *Massalski*, pełniący obowiązek stołonaczelnika Julian *Alchimowicz* i zostający w obowiązku pomocnika stołonaczelnika Feliks *Dunaj*, urzędnicy kancellaryjni: izby Kajetan *Sasinowicz*, zarządów okręgowych—Święciańskiego Piotr *Jasiewicz* i Trockiego Mikołaj-Jakób-Brunon *Piotrowski*; regestratorami kollegjalnymi—kancellarzyści izby: Mieczysław *Tabeński*, Maciéj-Józef *Międzybłocki* i Stefan *Marszewski*;— w Wileńskiéj izbie skarbowéj i jéj zawiadowstwie: sekretarzem kollegjalnym — pełniący obowiązek nadzorcy akcyznego w powiecie Wilejskim, sekretarz gubernjalny Michał *Niemira*; sekretarzem gubernjalnym, urzędnik kancellaryjny izby, regestrator kollegjalny Antoni-Franciszek *Hadziewicz*; regestratorami kollegjalnymi—kancellarzyści przy nadzorcy akcyzyjnym w powiecie Wilejskim Antoni *Rudziński* i Antoni *Sławiński*;— w Wileńskiem kollegium ewangelików reformowanych: gubernjalnymi sekretarzami—regestratorowie kollegjalni: urzędnicy kancellaryjni—Stanisław *Siestrzencewicz* i Józef *Kozaryn*;— w wydziale ministerstwa sprawiedliwości: radcą dworu—były prezydent Mohylewskiéj izby sądu kryminalnego, assesor kollegjalny Jan *Hryniewicz*; w Kijowskim gubernjalnym kantorze pocztowym: sekretarzem kollegjalnym—ekspedytor kantoru gubernjalnego, sekretarz gubernjalny Jan *Jaworski*;—w Kowieńskim kantorze gubernjalnym i w jego zawiadowstwie: regestratorami kollegjalnymi — starszy rozbiórca kantoru gubernjalnego Aleksander *Wilkaniec* i dozórca stacji Smilgowskiéj Stanisław *Malinowski*;— mianowani zostali w dymissji: w gubernji Kowieńskiéj: radcą dworu—były kurator wiejskich magazynów zbożowych w powiecie Szawelskim, assesor kollegjalny Justyn-Walerjan *Norejko*; sekretarzem kollegjalnym—były urzędnik kancellaryjny Wiłkomierskiego sądu ziemskiego, sekretarz gubernjalny Klemens *Mączuński*; w wydziale Mohylewskiéj gubernjalnéj kommisji pośredniczéj: sekretarzem gubernjalnym—były kancelarzysta kancellarji Mohylewskiego i Bychowskiego pośrednika polubownego rozgraniczenia specjalnego, regestrator kollegjalny Antoni-Bruno *Sławiński.*

СУДЕБНОЕ ДѢЛО КНЯЗЯ С. М. ВОРОНЦОВА

съ княземъ П. Долгорукимъ и редакторомъ журнала Courrier du Dimanche, *рѣшенное въ гражданскомъ судѣ сенскаго департамента 3-го января 1862 г.*

(Искъ объ оскорбленіи).

Въ статьѣ, напечатанной въ прошломъ году въ журналѣ Courrier du Dimanche, объ одномъ изъ сочиненій князя Петра Долгорукаго, сдѣланъ былъ намекъ на безъименную записку, въ которой одинъ русскій вельможа, авторъ генеалогическаго сочиненія о русскомъ дворянствѣ, предлагалъ будто бы одному высокому лицу, принадлежащему къ одной изъ первыхъ фамилій имперіи, издать въ свѣтъ генеалогію, написанную по его видамъ, если онъ за это пришлетъ ему 50,000 рублей.

По поводу этой статьи, князь Петръ Долгорукій послалъ въ Courrier du Dimanche, письмо, которое и было напечатано въ этомъ журналѣ. Князь Семенъ Михайловичъ Воронцовъ счелъ это письмо оклеветаніемъ памяти своего родителя, генералъ-фельдмаршала Воронцова, въ слѣдствіе чего подалъ жалобы въ сенскій судъ (во Франціи) на князя Долгорукаго и редактора Courrier du Dimanche, и просилъ, чтобы судъ, согласно его доводамъ, назначилъ удовлетвореніе за оскорбленіе и опредѣлилъ рѣшеніе свое напечатать въ Courrier du Dimanche, и въ нѣкоторыхъ журналахъ парижскихъ, лондонскихъ и с. петербургскихъ.

Судъ, выслушавъ адвокатовъ: г. Матье—со стороны князя Воронцова, г. Мари—со стороны князя Долгорукаго, и г. Густава Шодея—со стороны редактора Courrier du Dimanche, постановилъ, согласно съ заключеніемъ г. Северіена-Дюма, помощника императорскаго прокуратора, слѣдующее рѣшеніе:

„Находя, что письмомъ своимъ, напечатаннымъ, 6-го мая 1860 г., въ журналѣ Courrier de Dimanche, князь Петръ Долгорукій глубоко оскорбилъ память генералъ-фельдмаршала князя Михаила Воронцова и честь его имени насчетъ безъименной записки, въ которой было сказано, что за 50,000 рублей удовлетворятъ желаніе генералъ-фельдмаршала насчетъ происхожденія его фамиліи въ одной генеалогической книгѣ, которую намѣревался издать князь Долгорукій;

„Что дѣйствительно онъ разсказалъ исторію этой записки такимъ образомъ, что можно думать, будто фельдмаршалъ, выражаясь его собственными словами, оказался участникомъ въ клеветѣ и подлогѣ, какіе когда-либо совершались,—говоря, что этотъ старый воинъ нарушилъ правила чести;

„Находя, что оскорбленіе здѣсь очевидно; что оно отнюдь не было вызвано Воронцовыми, непринимавшими никакого участія къ журнальной статьѣ, на которую отвѣчалъ князь Долгорукій, и что это оскорбленіе есть не только поношеніе, но и клевета;

„Находя, что проистекающая отсюда для князя Долгорукаго отвѣтственность была бы еще значительнѣе, если бы справедливо было, что онъ самъ сочинитель записки, приписываемой имъ генералъ-фельдмаршалу, каковое обстоятельство предстоитъ суду разсмотрѣть по его собственной просьбѣ; но что пока, и независимо отъ сего увеличивающаго вину обстоятельства, обида несомнительна, и что князь Семенъ Воронцовъ, оскорбленный вдвойнѣ, и относительно памяти генералъ-фельдмаршала, своего родителя, и относительно чести имени, которое полулилъ отъ него, имѣетъ основанія требовать удовлетворенія;

„Находя касательно журнала Courrier du Dimanche, что онъ сдѣлался участникомъ въ обидѣ по неосторожности, отвѣтственности за которую никакъ не можетъ отклонить отъ себя; что онъ первый далъ поводъ къ ней по легкомыслію, съ которымъ допустилъ въ столбцахъ своихъ статью, подписанную Микіенскимъ, которая предшествовала письму кн. Долгорукаго; что затѣмъ онъ подпалъ подъ еще большую вину за неосторожное помѣщеніе явнаго поноценія княземъ Долгорукимъ генералъ-фельдмаршала Воронцова; что онъ въ этомъ тѣмъ менѣе извиняемъ, что въ статьѣ Микіенскаго Воронцовы нисколько не означены, и что онъ, неосновательно въ отношеніи къ нимъ, далъ гласность письму, для нихъ оскорбительному;

„Касательно встрѣчнаго иска со стороны князя Долгорукаго о томъ, чтобы князь Семенъ Воронцовъ подвергнутъ былъ отвѣтственности за утвержденіе, что князь Долгорукій есть сочинитель безъименной записки, о которой идетъ настоящее дѣло;

„Находя, что если князь Долгорукій, дѣйствительно есть сочинитель этой записки, то князь Семенъ Воронцовъ пользовался только своимъ правомъ законной защиты, приписывая ее ему; что въ этомъ настоитъ двойная надобность: съ одной стороны обсудить во всей силѣ первое обвиненіе князя Долгорукаго, будто записку писалъ генералъ-фельдмаршалъ, съ другой стороны совершенно очистить память генерала-фельдмаршала отъ этого обвиненія;

„Находя, что вопросъ состоитъ въ томъ, что князь Долгорукій писалъ или не писалъ этой записки, и что судъ, будучи побуждаемъ къ этому вопросу встрѣчнымъ искомъ самаго князя Долгорукаго и главнымъ требованіемъ князя Семена Воронцова, вдвойнѣ обязанъ разсмотрѣть этотъ вопросъ;

„Находя въ этомъ отношеніи, что всѣ обстоятельства и всѣ предположенія, могущія доставить убѣжденіе, утверждаютъ, что записка проистекаетъ отъ того, кто имѣлъ въ ней выгоду, т. е. князя Долгорукаго;

„Находя на самомъ дѣлѣ, что эта записка доставлена генералъ-фельдмаршалу въ письмѣ кн. Долгорукаго, запечатанномъ печатью съ его гербомъ;

„Что почеркъ руки, которымъ написана записка, отличается отъ руки князя Долгорукаго по особенному старанію, но въ то же время сходствуетъ съ нимъ по обыкновенной манерѣ его *;

„Что письмо и записка, по связи своей, имѣютъ такое взаимное отношеніе одно къ другой, что предложеніе, лишенное впрочемъ всякаго основанія, будто бы чья-нибудь третья рука приладила записку къ письму, потребовало бы новаго разрѣшенія: какимъ образомъ письмо было составлено столь согласно съ запиской;

„Что генералъ-фельдмаршалъ въ учтивомъ отвѣтѣ своемъ извѣстилъ князя Долгорукаго, что въ его письмѣ нашелъ онъ безъименную записку, копію съ которой тутъ же и препроводилъ къ нему, изъявляя готовность возвратить ему, при первомъ ихъ свиданіи, и самый подлинникъ, въ предположеніи, что онъ пожелаетъ отыскать сочинителя этой записки, но князь Долгорукій оставилъ безъ книманія это предложеніе генералъ-фельдмаршала, тогда какъ онъ долженъ былъ бы поспѣшить воспользоваться имъ, если бы былъ невиновенъ;

„Что въ этомъ отношеніи князь Долгорукій осудилъ самъ себя въ письмѣ къ редактору Courrier du Dimanche, утверждая въ немъ, будто бы онъ, въ отвѣтѣ своемъ генералъ-фельдмаршалу, требовалъ предъявить ему эту записку; что это въ самомъ дѣлѣ онъ и долженъ былъ бы сдѣлать; но что отвѣтъ его, представленный въ судъ, уличаетъ его во лжи по этому предмету, что онъ въ немъ не только вовсе не требуетъ, чтобы ему показана была записка, но что всячески уклоняется отъ добровольнаго предложенія генералъ-фельдмаршала;

„Что обращеніе князя къ министру полиціи, съ настоятельнымъ будто бы требованіемъ произведенія слѣдствія по этому дѣлу, въ которомъ онъ обвинялъ генералъ-фельдмаршала, очевидно было не серьезно, потому что ему изъявили готовность представить самую записку, которая составила бы поличное доказательство подлога и первое основаніе для слѣдстія, но онъ всячески уклонялся отъ предъявленія ему ея, и равнымъ образомъ избѣгалъ всякого личнаго объясненія съ генералъ-фельдмаршаломъ;

„Что обвиненіе, будто бы генералъ-фельдмаршалъ самъ составилъ эту подложную записку, или участвовалъ въ ея состовленіи, было впрочемъ оставлено и самимъ княземъ Долгорукомъ; что послѣ онъ послѣдовательно прибѣгалъ къ двумъ предположеніямъ участія въ этой запискѣ третьей руки, сперва продажной, потомъ враждебной, которая будто бы вложила записку въ письмо; но что оба эти предположенія не имѣютъ никакого основанія; что въ нихъ нѣтъ и тѣни вѣроятія; что независимо оттого, что они сами по себѣ невозможны, противъ нихъ всѣ вещественныя и нравственныя обстоятельства, всѣ предположенія, очень важныя и согласныя, обвиняющія князя Долгорукаго;

„Находя, что изъ всего вышепрописаннаго явствуетъ, что сочинитель записки не можетъ быть никто иной, кромѣ самого князя Долгорукаго; что князь Семенъ Воронцовъ имѣетъ полное право приписывать ему составленіе ея; и что за симъ встрѣчное домогательство князя Долгорукаго о вознагражденіи съ князя Семена Воронцова должно быть отвергнуто;

„Находя относительно дополнительнаго домогательства князя Семена Воронцова, что судъ не имѣетъ надобности постановлять какого-либо распоряженія о томъ, что составляетъ обыкновенный способъ, предоставляемый этому притязанію основаніями судебнаго рѣшенія;

„По этимъ основаніямъ, (судъ) приговориваетъ князя Долгорукаго и Лорана, въ званіи отвѣтственнаго редактора журнала Courrier du Dimanche, совокупно и взаимно-обязательно на ихъ счетъ, только для Лорана одной шестой части, къ помѣщенію настоящаго рѣшенія суда, съ прописаніемъ всѣхъ доводовъ его, въ пяти журналахъ, трехъ парижскихъ, одномъ с. петербургскомъ и одномъ лондонскомъ, не включая въ это число помѣщенія этого рѣшенія въ первомъ, послѣ подписанія его нумерѣ журнала Courrier du Dimanche;

„Уполномочиваетъ князя Семена Воронцова помѣстить это рѣшеніе въ журналахъ по его выбору;

„Признаетъ неумѣстнымъ назначеніе какого-либо денежнаго вознагражденія, такъ-какъ князь Семенъ Воронцовъ не искалъ никакой опредѣленной суммы;

„Признаетъ неумѣстнымъ дѣлать постановленіе относительно дополнительнаго домогательства князя Семена Воронцова;

„Отвергаетъ встрѣчный искъ князя Петра Долгорукаго о вознагражденіи съ князя Семена Воронцова; отказываетъ ему въ немъ;

„Присуждаетъ вышепоименованныхъ князя Долгорукаго и Лорана, совокупно и взаимно-обязательно, въ видѣ вознагражденія, къ уплатѣ проторей и убытковъ—князя Долгорукаго въ количествѣ пяти шестыхъ, а Лорана одной шестой доли всѣхъ расходовъ.“ *(Сѣв. Пч.)*

---

* Т.-е, при сличеніи почерка этой записки было обнаружено, что онъ, въ существѣ, долгоруковскій, но что при писаніи употреблено было особенное стараніе переиначить его и сдѣлать непохожимъ на обыкновенный почеркъ князя Долгорукаго.
Примѣч. переводчика.

целяріи Могилевскаго и Быховскаго посредника полюбовнаго специальнаго межеванія, коллежскій регистраторъ Антонъ-Бруно *Славинскій.*

Отъ государственнаго банка.

Правленіе государственнаго банка назначило проценты съ 19-го января 1862 г. по учету векселей и по ссудамъ подъ залогъ товаровъ и процентныхъ бумагъ, по разсчету 7% со ста въ годъ.

Управляющій баронъ *Штиглицъ.*

Въ газетѣ мин. вн. дѣлъ, Сѣверной Почтѣ, N. 11, напечатано слѣдующее описаніе посвященія архіепископа Фелинскаго:

Въ 11-мъ N. „Сѣверной Почты" было объявлено, что въ воскресенье, 14 января, долженъ былъ совершиться, въ здѣшней римско-католической церкви св. Іоанна іерусалимскаго, обрядъ посвященія въ санъ архіепископа Варшавскаго, священника Феликса Фелинскаго, съ возложеніемъ на него палліума, присланнаго по этому случаю изъ Рима. Постараемся передать читателямъ нашимъ полное, по возможности, описаніе этого торжественнаго обряда. Совершеніе обряда посвященія архіепископа Фелинскаго привлекло многочисленную публику. Въ числѣ присутствовавшихъ въ церкви находились: гг. министръ внутреннихъ дѣлъ, министръ статсъ-секретарь Царства Польскаго, товарищъ его тайн. сов. Платоновъ, министръ финансовъ, членъ государственнаго совѣта Царства Польскаго маркизъ Велепольскій, оберъ-церемоніймейстеръ графъ Борхъ, директоръ департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій графъ Сиверсъ, послы испанскій и англійскій, посланники австрійскій, бельгійскій и баварскій и другіе члены дипломатическаго корпуса, а равно и нѣкоторыя дамы изъ высшаго круга здѣшняго общества. Около 11 часовъ утра, преосвященный архіепископъ Могилевскій, митрополитъ р.—к. въ имперіи церквей Венцеславъ Жилинскій, новоизбранный архіепископъ, трое епископовъ-ассистентовъ и другія духовныя лица вошли въ храмъ. Митрополитъ, прочтя краткую молитву предъ алтаремъ, возсѣлъ на свое обычное мѣсто (слѣва отъ алтаря) новоизбранный же съ тремя епископами-ассистентами, вошелъ въ отдѣльный придѣлъ, гдѣ облекся въ пресвитерское облаченіе. По изготовленіи всего относящагося до богослуженія, митрополитъ, вставъ *съ прежняго мѣста*, подошелъ къ алтарю и возсѣлъ на приготовленное для него другое мѣсто противъ алтаря, лицемъ къ народу. Епископы-ассистенты подвели новоизбраннаго къ митрополиту, предъ которымъ онъ преклонилъ главу, снявъ предварительно красную шапочку, называемую беретой; въ тоже время, епископы-ассистенты, въ полномъ епископскомъ облаченіи митрами своими осѣнили главу новоизбраннаго. Затѣмъ всѣ четверо возсѣли предъ митрополитомъ, но въ нѣкоторомъ отъ него отдаленіи, новоизбранный прямо противъ него, старшій изъ епископовъ-ассистентовъ, графъ Платеръ,— по правую руку отъ Фелинскаго, двое младшихъ, Станевскій и Бересневичъ—по лѣвую. Черезъ нѣсколько минутъ всѣ они встали, съ открытой головой. Старшій изъ ассистентовъ, обратясь къ митрополиту, именемъ Матери-Церкви, просилъ его облечь епископскимъ саномъ предстоящаго пресвитера. „Имѣете ли вы на то соизволеніе апостольское?"— Имѣемъ.—отвѣчалъ вопрошаемый. „Да будетъ же оно прочтено," произнесъ митрополитъ. Слѣдовало за тѣмъ провозглашеніе тѣхъ папскихъ буллъ, которыя относились собственно до посвящаемаго и посвящающаго. Читалъ эти буллы на латинскомъ языкѣ членъ Варшавскаго капитула, каноникъ Щигельскій. По окончаніи чтенія, новоизбранный, приблизившись къ митрополиту, сталъ передъ нимъ на колѣни и произнесъ обычную присягу папѣ и св. Престолу, предъ евангеліемъ, которое держалъ передъ нимъ митрополитъ и къ которому посвящаемый прикоснулся обѣими руками. Затѣмъ митрополитъ и посвящаемый въ архіепископы встали, и послѣдній произнесъ на латинскомъ языкѣ присягу на вѣрность ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и Августѣйшему Его Наслѣднику. Въ это время къ приносившему присягу приблизились находившіеся въ церкви министръ внутреннихъ дѣлъ и министръ статсъ-секретарь Царства Польскаго. Затѣмъ новоизбранный и епископы-ассистенты возсѣли опять на свои мѣста; началось испытаніе посвящаемаго: митрополитъ предлагалъ новоизбранному вопросы, относящіеся до исповѣданія вѣры, поученія народа, преданности римской Церкви, чистоты нравовъ и проч. Послѣ каждаго вопроса, о. Фелинскій, привставъ съ своего мѣста, давалъ краткіе отвѣты, хощу, вѣрую, соглашаюсь и другіе, соотвѣтствующіе вопросамъ. Испытаніе заключилось словами посвящающаго: „Господь до возвеличитъ вѣру твою, возлюбленный о Христѣ братъ, истиннаго и вѣчнаго блаженства ради." Всѣ отвѣтствовали: „Аминь." По окончаніи испытанія, трое епископовъ-ассистентовъ подвели къ митрополиту о. Фелинскаго, который сталъ на колѣни предъ нимъ и облобызалъ его руку. Тогда митрополитъ, снявъ митру и обратясь лицемъ къ алтарю, учинилъ обычное исповѣданіе новопосвящаемому, находившемуся по лѣвую его сторону; то же сдѣлали и епископы-ассистенты съ своими капелланами, стоя передъ сѣдалищами своими. За тѣмъ посвящающій подошелъ къ алтарю, приложился устами къ нему и къ евангелію и, окадивъ алтарь, возсѣлъ на свое мѣсто. Началась литургія. Между тѣмъ епископы-ассистенты отвели новоизбраннаго въ малый придѣлъ; тамъ, облекшись въ другія одѣянія и стоя передъ алтаремъ, между епископами-ассистентами, съ непокровенною главой, онъ приступилъ къ совершенію про себя литургіи (messe basse), которая продолжалась въ придѣлѣ, одновременно съ торжественною гласною литургіею (messe chantée), совершаемою митрополитомъ въ главномъ придѣлѣ. Митрополитъ, между тѣмъ снова возсѣлъ предъ алтаремъ съ митрою на главѣ. Епископы-ассистенты подвели къ нему посвящаемаго, который, съ непокрытой главою, благоговѣйно преклонился предъ нимъ; то-же сдѣлали и епископы-ассистенты, но не снимая митръ. Всѣ, за тѣмъ, сѣли по своимъ мѣстамъ, какъ прежде. Посвящающій, съ митрою на главѣ, обратившись къ посвящаемому, въ нѣсколькихъ краткихъ выраженіяхъ исчислилъ обязанности епископскаго сана, и потомъ, когда всѣ встали съ своихъ мѣстъ, пригласилъ предстоящихъ вознести къ Господу Богу мольбы о ниспосланіи новоизбранному благодати Божіей. Тутъ началось пѣніе обыкновенныхъ литій. Митрополитъ и епископы-ассистенты въ митрахъ преклонились; посвящаемый же, находясь по лѣвую руку отъ митрополита, распростерся долу; клиръ и всѣ предстоящіе стали на колѣни. По окончаніи литій, посвящающій всталъ съ посохомъ въ рукахъ, обратившись къ посвящаемому, троекратно призвалъ на него благословеніе Божіе и троекратно осѣнилъ его крестнымъ знаменіемъ; то же сдѣлали и епископы-ассистенты, но оставаясь въ колѣнопреклоненномъ положеніи. За тѣмъ посвящающій вновь преклонился; литія продолжалась. По окончаніи ея всѣ встали; митрополитъ возсѣлъ на свое мѣсто, предъ алтаремъ, съ митрой на главѣ; посвящемый асталъ предъ нимъ на колѣни; митрополитъ, принявъ поданное ему евангеліе, при содѣйствіи епископовъ-ассистентовъ, возложилъ его открытымъ на главу и плечи посвящаемаго. Потомъ митрополитъ и епископы-ассистенты, возложивъ руки на главу посвящаемаго' произнесли: „пріими Духа Свята." Потомъ митрополитъ всталъ съ своего мѣста, снялъ митру и произнесъ молитву о ниспосланіи благословенія Божія на новопосвящаемаго; за тѣмъ, простерши длани, онъ произнесъ: „во вѣки вѣковъ;" клиръ отвѣтствовалъ: „Аминь"; „Господъ со всѣми вами". „И со духомъ твоимъ". „Горе имѣетъ сердца". "Имамы о Господѣ". „Вознесемъ благодареніе Господу Богу нашему." „Достойно и праведно есть". Слѣдуетъ за тѣмъ молитва: Vere dignum et justum est (достойно и праведно есть). Начался обрядъ мvропомазанія(consecratio). Посвящаемому обвязали главу бѣлою тканью; митрополитъ, колѣнопреклоненный, обратясь лицемъ къ алтарю, началъ гимнъ: veni creator Spiritus (пріиди, Духъ зиждитель); прочіе сослужащіе ему продолжали пѣніе. По окончаніи перваго стиха, митрополитъ сѣлъ на свое мѣсто предъ алтаремъ, взялъ митру, снялъ перстень и перчатки. Потомъ, погрузивъ перстъ въ святое мvро, помазалъ дважды крестообразно главу стоявшаго предъ нимъ на колѣняхъ посвящаемаго, при чемъ произнесъ слѣдующія слова: „да умастится и освятится глава твоя небеснымъ благословеніемъ, по чину архіерейскому"; сотворивъ затѣмъ въ третій разъ знаменіе креста надъ главою посвящаемаго, митрополитъ произнесъ: „во имя Отца, и Сына и Св. Духа;" клиръ отвѣтствовалъ: „аминь."—„Миръ съ тобою," продолжалъ митрополитъ, отеръ слегка перстъ хлѣбнымъ мякишемъ и когда окончилось пѣніе гимна, онъ всталъ съ своего мѣста, снялъ митру и произнесъ молитву начинающуюся словами: Hoc, Domine, sopiose in caput ejus influat (сіе, да прольется обильно на главу его, Господи) и проч.... Потомъ слѣдовала другая молитва,—пѣніе антифона Unguentum in capite и 132 псалма. При пѣніи антифона на выю посвящаемаго возложили длинную ткань; посвящающій сѣлъ на свое мѣсто, взялъ митру, и тѣмъ же освященнымъ елеемъ помазалъ крестообразно длани посвящаемаго, который стоялъ предъ нимъ на колѣняхъ; за тѣмъ митрополитъ осѣнилъ его крестнымъ знаменіемъ, произнеся молитву благословенія, начинающуюся словами: „Во имя Отца, и Сына и святаго Духа," и другую: „Deus et Pater...." Посвящаемый стоялъ съ сложенными руками, на которыя опускалась ткань, возложенная на его шею; митрополитъ же, вставъ съ мѣста и скинувъ митру, благословилъ посохъ, съ произнесеніемъ установленной на подобные случаи молитвы; и потомъ окропивъ его святою водою, вручилъ посвящаемому, при произнесеніи слѣдующихъ словъ: „пріими жезлъ пастырскаго служенія, будь благостно сторгъ въ исправленіи пороковъ; судъ твори безъ гнѣва и проч..." Учинивъ сіе и снявъ митру, митрополитъ всталъ и при произнесеніи соотвѣтствующей молитвы, благословилъ перстень, окропилъ его святою водою и, сѣвъ на свое мѣсто, съ митрой на главѣ, надѣлъ перстень на палецъ посвящаемаго, выразивъ ему при семъ, что знаменіе перстня: охранять святую Церковь, какъ невѣсту Господню; потомъ посвяющій, взявъ евангеліе, которое держали на главѣ посвящаемаго, вручилъ ему священную книгу закрытою, съ произнесеніемъ нѣсколькихъ словъ, смыслъ которыхъ заключался въ заповѣди, идти проповѣдывать слово Божіе паствѣ поручаемой ему. Наконецъ посвящающій и епископы-ассистенты дали посвящаемому лобзаніе мира, говоря: „миръ тебѣ;" на что онъ отвѣчалъ каждому: „и со духомъ твоимъ." Послѣ сего новопосвященный отошелъ въ свой придѣлъ, гдѣ ему вытерли главу хлѣбомъ и чистымъ полотенцемъ и пригладили волосы гребнемъ; онъ омылъ руки, что сдѣлалъ и посвящающій. Затѣмъ и посвящающій и посвященный продолжали начатую ими литургію. Послѣ оффэрторіума (возношенія даровъ), митрополитъ возсѣлъ на свое мѣсто, посвящаемый же, вышедъ изъ своего придѣла въ сопровожденіи епископовъ-ассистентовъ, и ставъ предъ митрополитомъ на колѣни, передалъ ему двѣ зажженныя свѣчи, два хлѣба и два боченка съ виномъ; причемъ онъ лобызалъ руку посвящающаго, принимавшаго отъ него эти дары. Свѣчи, хлѣбы и боченки съ виномъ поднесены были къ алтарю торжественно высшими свѣтскими сановниками римско-католическаго исповѣданія; хлѣбы и боченки съ виномъ были посеребрены и вызолочены. Митрополитъ послѣ того, учинивъ омовеніе рукъ, приступилъ къ алтарю; посвящаемый стоялъ возлѣ него, между епископами-ассистентами, имѣя предъ собою служебникъ (missale); тутъ послѣдовало предложеніе святыхъ даровъ въ видѣ хлѣба и вина, причемъ посвящающій и посвященный вмѣстѣ читали установленныя Церковью молитвы; по окончаніи этихъ молитвъ, посвященный сталъ по правую руку митрополита, который сказалъ ему: „миръ съ тобою;" посвященный отвѣтствовалъ: „и со духомъ твоимъ;" тѣми же словами обмѣнялись новопосвященный съ каждымъ изъ своихъ ассистентовъ-епископовъ. Послѣ этого митрополитъ причастился самъ и причастилъ посвященнаго; затѣмъ оба они продолжали служеніе литургіи. Митрополитъ, благославивъ затѣмъ предстоящихъ, сѣлъ на свое мѣсто предъ алтаремъ; посвященный же сталъ предъ нимъ на колѣни; митрополитъ всталъ, благословилъ митру для посвященнаго, окропилъ ее святою водою и возложилъ на главу его, съ произнесеніемъ установленной на подобные случаи молитвы. Точно также митрополитъ благословилъ и окропилъ святою водою перчатки, надѣлъ имъ посвященному, снявъ предварительно съ руки его перстень и произнеся молитву; послѣ этого митрополитъ всталъ съ своего мѣста, взялъ посвященнаго за правую руку, и вмѣстѣ съ старшимъ епископомъ-ассистентомъ, державшимъ его за лѣвую, посадилъ его на то мѣсто, предъ алтаремъ, на которомъ возсѣдалъ предъ тѣмъ самъ; посвященный держалъ въ лѣвой рукѣ посохъ. Наконецъ митрополитъ, обратившись къ алтарю и снявъ съ главы митру, началъ гимнъ: „Тебе Бога хвалимъ"; сослужащіе ему продолжали пѣніе его. При самомъ началѣ гимна, епископы-ассистенты, въ митрахъ, повели новаго архіепископа по церкви и онъ благословялъ народъ; пѣніе „Тебе Бога хвалимъ" продолжалось, посвященный сѣлъ на мѣсто предъ алтаремъ, епископы-ассистенты безъ митръ стали возлѣ митрополита. Когда окончился гимнъ, митрополитъ началъ пѣніе антифона; потомъ посвященный всталъ съ своего мѣста, въ митрѣ и съ посохомъ въ рукѣ подошелъ къ алтарю, осѣнилъ крестнымъ знаменіемъ сперва грудь свою, а потомъ чело; воздѣлъ руки и, обратившись къ народу, благословилъ его.

Митрополитъ между тѣмъ въ митрѣ, съ епископами и ассистентами, стоялъ у алтаря; посвященный три раза, становясь на колѣни, лицемъ къ митрополиту, произносилъ на распѣвъ: „на многіе годы. „Въ послѣдній разъ митрополитъ поднялъ его, далъ ему лобзаніе мира; тоже сдѣлали и епископы-ассистенты. Такъ кончился собственно обрядъ посященія въ санъ епископскій. Оставалось совершить другой обрядъ—возложеніе палліума. Палліумъ сотвѣтствуетъ нашему омофору; онъ обыкновенно дается папою патріархамъ и архіепископамъ. Прежде возложенія палліума, посвященный не можетъ называться архіеопископомъ или патріархомъ,

Ogłoszenie Banku Państwa.

Zarząd banku państwa naznaczył procenta od 19-go stycznia 1862 r. co do eskontowania wexlów i pożyczek pod zastaw towarów i papierów procentowych, licząc 7% od sta na rok.

Zarządzający: baron *Stieglitz.*

W dzienniku ministerjum spraw wewnętrznych, *Poczta Północna*, czytamy następujący opis uroczystości wyświęcenia ks. Feliksa Felińskiego na arcybiskupa Warszawskiego:

W numerze 11-tym „Poczty Północnéj" było ogłoszono, że w niedzielę, 14-go stycznia, odbędzie się w tutejszym kościele rzymsko-katolickim św. Jana jerozolimskiego, wyświęcenie księdza Feliksa Felińskiego na dostojność arcy-biskupa Warszawskiego i włożenie nań palljusza, nadesłanego z tego powodu z Rzymu. Postaramy się dać tu czytelnikom naszym opisanie tego obrzędu uroczystego. Dopełnienie obrzędu wyświęcenia księdza Feliksa Felińskiego ściągnęło tłumy publiczności. W liczbie obecnych w kościele znajdowali się: pp. minister spraw wewnętrznych, minister sekretarz stanu Królestwa polskiego, towarzysz jego rad. tajny Płatonow, minister skarbu, członek rady stanu Królestwa polskiego, margrabia Wielopolski, wielki mistrz obrzędów hrabia Borch, dyrektor departamentu spraw duchownych wyznań zagranicznych hrabia Sievers, ambassadorowie hiszpański i angielski, posłowie austryjacki, belgijski, bawarski, i inni członkowie ciała dyplomatycznego, jako też i niektóre damy z wyższych sfer towarzystwa tutejszego. Koło godziny 11-téj z rana, jego eminencja arcybiskup Mohylewski, metropolita wszech-rzymsko-katolickich kościołów w cesarstwie ksiądz Wacław Żyliński, arcybiskup nowo wybrany, trzech biskupów-assystentów i inne osoby duchowne weszli do kościoła. Metropolita, po przeczytaniu krótkiéj modlitwy u ołtarza, zasiadł na tronie (z lewéj strony ołtarza); nowowybrany zaś z trzema biskupami-assystentami, wszedł do osóbnéj kaplicy, gdzie przywdział szaty kapłańskie. Po uczynioném przygotowaniu wszystkiego, co się odnosi do nabożeństwa, metropolita powstawszy z tronu, podszedł do ołtarza i zasiadł na miejscu dlań przygotowaném naprzeciw ołtarza, twarzą obrócony do ludu.—Biskupi-assystenci przywiedli nowoobranego do metropolity, przed którym on schylił głowę, zdjąwszy przedtém ponsową czapeczkę, biretem zwaną; wtedy biskupi-assystenci, w zupełnem biskupiém ubraniu kościelném, przykryli swemi mitrami głowę nowoobranego. Poczem wszyscy czteréj usiedli przed metropolitą, w pewném od niego oddaleniu: nowoobrany naprzeciw niego, starszy biskup-assystent hrabia ks. Plater, z prawéj strony ks. Felińskiego, dwaj młódsi, ks. Staniewski i ks. Bereśniewicz—z lewéj. Po upływie kilku minut wstali oni wszyscy z głową odkrytą. Starszy z pomiędzy assystentów, zwróciwszy się ku metropolicie, prosił go w imieniu Matki-Kościoła, by raczył przyoblec obecnego kapłana godnością biskupią. „Czy macie na to zezwolenie apostolskie?"—Mamy, odrzekł zapytany.—„Niechże ono będzie przeczytane", rzekł metropolita. Tu nastąpiło ogłoszenie tych bull papieskich, które ściągały się właściwie do konsekrowanego i konsekrującego. Bulle te zostały odczytane, w języku łacińskim, przez członka kapituły warszawskiéj ks. kanonika Szczygielskiego. Po ukończoném czytaniu, nowoobrany, zbliżywszy się ku metropolicie, ukląkł przed nim i wykonał zwyczajną przysięgę Ojcu Świętemu i stolicy Apostolskiéj, na Ewangelję, którą metropolita trzymał przed nim, a do któréj konsekrowany dotknął się obiedwóma rękami; poczem metropolita i konsekrowany powstali, z których ostatni, wykonał przysięgę wierności NAJJAŚNIEJSZEMU CESARZOWI i Cesarzewiczowi Następcy Tronu, podczas czego obecni w kościele: minister spraw wewnętrznych i minister sekretarz stanu Królestwa polskiego, przybliżyli się do wykonywającego tę przysięgę. Następnie nowoobrany i biskupi-assystenci zasiedli znowu swoje miejsca; rozpoczął się egzamen konsekrowanego: metropolita zadawał pytania nowoobranemu, tyczące się wyznania wiary, nauczania ludu, uległości kościołowi rzymsko-katolickiemu, czystości obyczajów etc. Po każdém, zadaném sobie pytaniu, ks. Feliński, powstawszy ze swojego miejsca, dawał krótkie odpowiedzi: chcę, wierzę, przystaję i inne stosowne do zapytań mu czynionych. Egzamen zakończony został słowami konsekrującego: „Niech Bóg Najwyższy utwierdzi twą wiarę, bracie najmilszy w Chrystusie, na pożytek prawdziwy i wieczny." Wszyscy odpowiedzieli: „Amen". Po skończonym egzaminie, trzéj biskupi-assystenci poprowadzili do metropolity ks. Felińskiego, który ukląkł przed nim i ucałował rękę; wtedy metropolita zdjąwszy mitrę i obróciwszy się twarzą do ołtarza rozpoczął mszą św. (introitus), mając koło siebie z lewéj strony konsekrowanego, toż samo uczynili i biskupi-assystenci przed swoimi kapelanami, Potém konsekrujący podszedł do ołtarza, a ucałowawszy go i Ewangelję świętą, okadził ołtarz i zasiadł na tronie, a tymczasem biskupi-assystenci odprowadzili nowoobranego do małéj kaplicy, gdzie on, przywdziawszy inne szaty, stojąc u ołtarza z odkrytą głową pomiędzy biskupami-assystentami, rozpoczął mszę św. czytaną, którą odprawiał tutaj jednocześnie z uroczystą mszą św. śpiewaną, jaką metropolita celebrował przy ołtarzu wielkim. Tymczasem metropolita zasiadł znowu przed ołtarzem z mitrą na głowie; biskupi-assystenci podprowadzili ku niemu konsekrowanego, który z głową odkrytą, ze czcią największą, schylił przed nim głowę, toż samo uczynili i biskupi-assystenci, tylko nie zdejmując mitr, poczém wszyscy zasiedli swe miejsca jak przedtém. Konsekrujący, w mitrze na głowie, zwróciwszy się ku konsekrowanemu, wyliczył mu w krótkich słowach obowiązki godności biskupiéj, a gdy wszyscy powstali, zawezwał obecnych, by zanieśli wspólne modły do Boga, prosząc o łaskę Jego dla nowoobranego. Tutaj zaczęła się litanja; metropolita i biskupi-assystenci, w mitrach, uklękli, konsekrowany zaś położył się krzyżem z lewéj strony przy metropolicie,—kler cały i wszyscy obecni uklękli. Po litanji, konsekrujący z pastorałem w ręku powstał, a zwróciwszy się ku konsekrowanemu, po trzykroć prosił Boga o błogosławieństwo dla niego i przeżegnał go trzy razy; toż samo uczynili i biskupi assystenci, lecz nie powstając, klęczący jak przedtém;—poczém konsekrujący ukląkł znowu, litanja daléj była odmawianą. Po ukończeniu jéj wszyscy powstali, metropolita zasiadł na swém miejscu przed ołtarzem, z mitrą na głowie, konsekrowany ukląkł przed nim, metropolita przyjąwszy podaną sobie Ewangelję, położył ją, przy pomocy biskúpów-assystentów, roztwartą na głowę i plecy konsekrowanego, poczém metropolita i biskupi-assystenci, położywszy ręce na głowę konsekrowanego, wyrzekli: „przyjmij Ducha świętego." Potém metropolita powstał ze swego miejsca, zdjął mitrę i odmówił modlitwę blagalną o zlanie błogosławieństwa boskiego na nowo-wyświęcającego się; następnie wzniosłszy ręce w górę rzekł: „po wszystkie wieki wieków," kler odpowiedział mu „Amen"; „Pan z wami"; „i z duchem Twoim." „Wznieście serca ku niebu," „jużeśmy je wznieśli ku Panu." „Złóżmy dzięki Bogu, Panu naszemu"; „rzecz słuszna i sprawiedliwa". Potém następuje modlitwa: „Vere dignum et justum est (prefacja), podczas któréj zaczął się obrzęd namaszczenia olejem świętym (consecratio). Głowę wyświęcającego się obwiązano białą chustą, metropolita zaś, ukląkszy twarzą ku ołtarzowi, zaintonował hymn: Veni Creator Spiritus (przyjdź Duchu Stworzycielu), który assystujący mu dokończyli. Po zaintonowaniu metropolita usiadł na tronie swoim przed ołtarzem, włożył mitrę, zdjął pierścień i rękawiczki. Potém umoczywszy palec w olejach świętych, dwakroć namaścił znakiem krzyża świętego głowę klęczącego przed nim wyświęcającego się, wymawiając następne słowa: „niech się namaści i poświęci głowa twoja błogosławieństwem Niebios, na godność arcybiskupią", zrobiwszy potém po raz trzeci znak krzyża świętego nad głową wyświęcającego się, metropolita wyrzekł: „W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego;" kler odpowiedział: „amen."—„Pokój z tobą" ciągnął daléj metropolita, zlekka otarł palec miękiszem chleba, i gdy przestano śpiewać hymn, powstał, zdjął mitrę i odmówił modlitwę, zaczynającą się od słów: Hoc, Domine, copiose in caput ejus influat (niech się to zleje o Panie obficie na głowę jego) i t. d. Potém odmówiona została inna modlitwa, odśpiewana antyfona „Unguentum inCapite i wyjątek 132 psalmu. Podczas antyfony na szyję wyświęcającego się włożono długą tkaninę; konsekrator usiadł na swojém miejscu, włożył mitrę i temiż olejami świętemi namaścił znakiem krzyża świętego dłonie wyświęcającego się, klęczącego przed nim, potém przeżegnał go, odmawiając modlitwę, zaczynającą się od słów: „W imię Ojca i Syna i Ducha świętego," i drugą: „Deus et Pater..." Wyświęcający się stał z złożonemi rękoma, na które spływała tkanina włożona mu na szyję; metropolita zaś, powstawszy z miejsca i zrzuciwszy mitrę błogosławił pastorał, odmawiając ustanowioną na podobne wypadki modlitwę, i pokropiwszy go wodą święconą, wręczył wyświęcającemu się, wymawiając następujące słowa: „przyjmij laskę służby pasterskiéj, bądź świątobliwie surowym w poprawianiu występków; sprawuj sąd bez gniewu i t. d." Uskuteczniwszy to i zdjąwszy mitrę, metropolita powstał, i odmawiając stosowną modlitwę, poświęcił pierścień, skropił go wodą święconą i usiadłszy na tronie swoim, z mitrą na głowie, włożył pierścień na palec wyświęcającemu się, tłómacząc mu przytém, że symboliczném godłem pierścienia, jest stawać w obronie kościoła świętego, jako Oblubienicy Pańskiéj; poczém konsekrator wziął ewangelję, którą trzymano na głowie wyświęcającego się, i wręczył mu zamkniętą księgę świętą, przemówiwszy doń słów kilka, ażeby szedł ogłaszać słowo Boże powierzonéj mu trzodzie wiernych. Nakoniec konsekrator i assystujący biskupi złożyli na twarzy wyświęcającego się pocałowanie pokoju, mówiąc: „pokój z tobą"; na co on odpowiadał każdemu: „i z Duchem twoim." Poczém nowowyświęcony udał się do swojéj kaplicy, gdzie mu wytarto głowę chlebem i czystym ręcznikiem, i przyczesano grzebieniem włosy; nadto umył ręce, co uskutecznił i konsekrator. Następnie i konsekrator i konsekrowany odprawiali zaczętą przez siebie mszę świętą. Po podniesieniu metropolita usiadł na swoim tronie, wyświęcający się zaś wyszedłszy z swojéj kaplicy w towarzystwie assystujących mu biskupów i przyklęknąwszy przed metropolitą, oddał mu dwie zapalone świece, dwa chleby, i dwie beczułki z winem; przyczém całował rękę konsekratora, który od niego te dary przyjmował. Świece, chleby i beczułki z winem zaniesione zostały uroczyście do ołtarza przez wyższych świeckich dostojników wyznania rzymsko-katolickiego; chleby i beczułki z winem były srebrzone i złocone. Z kolei metropolita umywszy ręce, poszedł do ołtarza; wyświęcający się stał obok niego między assystującymi biskupami, mając mszał przed sobą; tu miało miejsce złożenie świętych darów w kształcie chleba i wina, podczas którego konsekrator i wyświęcający się odmawiali razem po cichu modlitwy przez kościół przepisane, po skończeniu których wyświęcony stanął z prawéj strony metropolity, który rzekł mu: „Pokój z tobą"; konsekrowany odpowiedział: „i z duchem twoim"; takież same słowa wyrzekli do siebie wzajemnie nowo-wyświęcony arcy-pasterz i assystujący mu biskupi. Potém metropolita kommunikował sam i dał kommunję świętą konsekrowanemu i obaj odprawiali daléj mszę świętą. Metropolita przeżegnawszy następnie obecnych, usiadł na swojém miejscu przed ołtarzem, a poświęcony ukląkł przed nim; metropolita powstał, poświęcił mitrę dla konsekrowanego, skropił ją wodą święconą i włożył mu na głowę, odmawiając stosowną w takich razach modlitwę. Tak samo zupełnie metropolita poświęcił i pokropił wodą święconą rękawiczki, i włożył je na konsekrowanego, zdjąwszy mu uprzednio z palca pierścień i odmówiwszy modlitwę. Potém znowu powstawszy ze swego miejsca metropolita, ujął konsekrowanego za prawą rękę i łącznie ze starszym biskupem assystującym, trzymającym go za lewą rękę, posadził go na tém samém miejscu przed ołtarzem, które sam przed chwilą zajmował; konsekrowany trzymał w prawém ręku pastorał. Nakoniec metropolita zwróciwszy się ku ołtarzowi i zdjąwszy z głowy mitrę, zaintonował hymn: „Ciebie Boga chwalimy", które śpiewało daléj otaczające go duchowieństwo. W samym początku hymnu, biskupi assystujący w mitrach, oprowadzili nowego arcypasterza po kościele, gdzie błogosławił ludowi; śpiew hymnu „Ciebie Boga chwalimy" nie ustawał; konsekrowany zajął miejsce przed ołtarzem; biskupi assystujący bez mitr stanęli obok metropolity. Po skończonym hymnie metropolita zaintonował antyfonę; potém konsekrowany wstał ze swego miejsca i w mitrze i z pastorałem w ręku poszedł do ołtarza, zrobił znak krzyża świętego naprzód na piersiach, potém na czole, wzniósł w górę ręce i odwróciwszy się błogosławił ludowi. Metropolita tymczasem w mitrze, z biskupami i assystencją, stał przy ołtarzu; konsekrowany zaś trzykroć, przyklęknąwszy przed metropolitą, odśpiewał: „plurimos annos." Po raz ostatni podniósł go metropolita i dał mu pocałowanie pokoju; toż samo uczynili i biskupi assystujący. Na tém się właściwie zakończył obrzęd wyświęcenia na godność biskupią. Zostawał jeszcze do spełnienia drugi obrzęd — włożenie palljusza, który papież zwykł dawać arcybiskupom i patryarchom. Przed włożeniem palljusza konsekrowany niema prawa mianowania się arcybiskupem lub patryarchą, nie może wyświęcać biskupów, zwoływać synodów, przygotowywać olejów św., konsekrować kościołów, ani też wyświęcać kleryków. Palljusz — jest to szeroka na trzy palce wstęga, utkana z wełny, na któréj wyszyte są czarnym jedwabiem krzyże; końce jego także są z czarnego jedwabiu; wkłada się on tak, że jeden koniec spada na piersia; drugi na plecy; przed wysłaniem palljusza do patryarchy lub arcybiskupa, któremu został nadany, składa się na grobie św. Piotra Apostoła, na którym się téż i poświęca.

Obrządek włożenia palljusza odbył się następnie: palljusz przyniesiony był na wezgłowiu i złożony został na ołtarzu; metropolita zasiadł swój tron przed ołtarzem; no-

не можетъ посвящать въ епископы, ни созывать собора, ни варить св. мира, ни освящать церквей, ни рукополагать клириковъ. Палліумъ—бѣлаго цвѣта, тканый изъ шерсти, шириною пальца въ три; на немъ нашиты черные шелковые кресты; наконечники его тоже черные шелковые; надѣвается онъ такъ, что концы его висятъ на груди; предъ отправленіемъ палліума къ патріарху, или архіепископу, коему онъ пожалованъ, онъ возлагается на гробницу св. апостола Петра, на которой и освящается.

Обрядъ возложенія палліума совершенъ былъ слѣдующимъ образомъ: палліумъ принесенъ былъ на подушкѣ и положенъ на алтарь; митрополитъ возсѣлъ на свое мѣсто предъ алтаремъ; новопосвященный въ полномъ служебномъ облаченіи, но безъ митры и безъ перчатокъ, ставъ предъ митрополитомъ на колѣни, произнесъ на латинскомъ языкѣ, предъ открытымъ евангеліемъ, присягу на вѣрность папѣ, по формѣ, установленной для сего римскою Церковію. Митрополитъ, по окончаніи присяги, всталъ съ своего мѣста, взялъ съ алтаря палліумъ и возложилъ его на рамена новаго архіепископа. По окончаніи сего обряда, митрополитъ провозгласилъ молитву за здравіе ИМПЕРАТОРА и всей Августѣйшей фамиліи.

Такъ кончилось посвященіе въ архіепископы преосвященнаго Фелинскаго и возложеніе на него палліума. Въ этомъ обрядѣ много торжественнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ трогательнаго; музыка, пѣніе, убранство алтаря, пышность облаченій, благоговѣніе духовенства—все это производитъ сильное впечатлѣніе. Мы очень жалѣемъ, что предѣлы этой статьи не позволяютъ намъ привести здѣсь всѣ молитвы, которыя употребляются при этомъ обрядѣ; почти всѣ онѣ возвышены по идеямъ и по чувству. Чтобы дать точное понятіе о служеніи, которое бываетъ вообще при посвященіи, нужно было бы объяснить значеніе каждаго движенія, каждаго слова,—потому что все это символизмъ, заключающій въ себѣ глубокій смыслъ.

Да позволено намъ будетъ, при этомъ случаѣ, сказать нѣсколько словъ о новомъ архіепископѣ, назначенномъ управлять варшавскою ерхіепархіею, но жившемъ здѣсь, посреди насъ, и пріобрѣвшемъ уваженіе всѣхъ тѣхъ, которые имѣли честь входить съ нимъ въ сношеніе.

Преосвященный Феликсъ Фелинскій, нынѣ архіепископъ варшавскій, родомъ изъ дворянъ волынской губерніи; первоначальное образованіе онъ получилъ въ клеванской гимназіи; потомъ поступилъ въ ИМПЕРАТОРСКІЙ московскій университетъ, гдѣ окончилъ курсъ наукъ въ 1844 году, по философскому факультету. Желая посвятить себя служенію алатаря, онъ поступилъ въ луцко-житомирскую римско-католическую семинарію въ 1851 г., и, пройдя въ ней полный курсъ богословскихъ наукъ, былъ переведенъ, какъ отличный воспитанникъ, въ здѣшнюю римско-католическую духовную академію. Превосходныя способности его и безукоризненная нравственность обратили на него особенное вниманіе покойнаго митрополита Головинскаго, бывшаго тогда ректоромъ академіи. Въ послѣдствіе же нынѣшній р.-к. митрополитъ Жилинскій, имѣя въ виду оставить его при академіи для занятій науками съ согласія преосвященнаго луцко-житомирской епархіи, Гаспара Боровскаго, перечислилъ его въ свою епархію. Окончивъ курсъ наукъ въ академіи и получивъ степень кандидата богословія, Фелинскій рукоположенъ былъ въ іереи 8 сентября 1855 года и въ слѣдъ за тѣмъ назначенъ викарнымъ священникомъ въ здѣшней приходской церкви св. Екатерины. Въ 1856 году онъ удостоенъ былъ степени магистра богословія, въ которой и утвержденъ въ 1857 году. Послѣ этого былъ онъ духовникомъ воспитанниковъ академіи. Нынѣшній архіепископъ могилевскій, митрополитъ всѣхъ римско-католическихъ въ имперіи церквей, всегда высоко цѣнившій умственныя и нравственныя качества преосвященнаго Фелинскаго, назначилъ его, съ согласія министерства внутреннихъ дѣлъ, профессоромъ логики и нравственной философіи въ академіи; въ этой должности онъ оставался до самаго возведенія его въ санъ архіепископа варшавскаго. Не опасаясь оскорбить скромность преосвященнаго Фелинскаго, мы смѣло можемъ сказать, что, кромѣ учености и природнаго ума, вполнѣ развитаго наукой, въ немъ есть качество драгоцѣннѣйшее всего, что даетъ наука и умъ; онъ священникъ, въ полномъ, высшемъ значеніи этого слова, то есть человѣкъ кроткій, богобоязненный, искренно набожный, посвятившій себя на служеніе человѣчеству безкорыстно, безусловно, съ самозабвеніемъ, рѣдко встрѣчающимся между людьми. По словамъ всѣхъ знающихъ его, онъ такъ сказать жертва бѣдныхъ, которымъ отдаетъ все, что имѣетъ. Его благотворительная дѣятельность вполнѣ выразилась участіемъ его въ учрежденіи пріюта для бѣдныхъ сиротъ, помѣщающагося въ 14 линіи васильевскаго острова: около 100 сиротъ дѣвочекъ находятъ въ немъ прибѣжище, обезпеченіе, привычку къ труду и честной жизни; преосвященный Фелинскій, исполненный самъ духа вѣры и милосердія, но не обладая благами міра, умѣлъ перелить этотъ духъ любви въ тѣхъ, которыхъ сердце отверзто для благотворительности; ихъ то пособіями и пожертвованіями учрежденъ этотъ пріютъ и доведенъ до возможно цвѣтущаго состоянія. Себя онъ не щадилъ для бѣдныхъ: его время, трудъ, кошелекъ—все имъ принадлежало. Жизнь его протекала мирно въ молитвѣ, трудѣ и благотворительности; но всему этому предопредѣлено было измѣниться. Читателямъ нашимъ извѣстны событія, возникшія въ царствѣ польскомъ; извѣстно также, что духовенство римско-католическое принимало въ нихъ дѣятельное участіе и что, наконецъ, варшавскій архіепископъ Фіалковскій скончался. Управленіе епархіею пришло въ разстройство; капитулъ каѳедральный выбралъ администраторомъ человѣка, оказавшагося совсѣмъ неспособнымъ успокоить волненіе умовъ въ томъ краѣ; закрытіе всѣхъ варшавскихъ церквей, подъ предлогомъ оскверненія двухъ изъ нихъ во время безпорядковъ, еще болѣе усилило ропотъ, если не народа, то по крайней мѣрѣ жителей Варшавы. Нуженъ былъ въ начальники епархіи человѣкъ съ умомъ положительнымъ, твердымъ; человѣкъ преданный Церкви и истиннымъ интересамъ народа. Выборъ ГОСУДАРЯ палъ на Фелинскаго, ревностнаго католика и вѣрнаго подданнаго.

По XII статьѣ конкордата, заключеннаго съ римскимъ дворомъ въ 1847 году, назначеніе епископовъ римско-католическихъ въ имперію и царство польское дѣлается по предварительномъ сношеніи съ папою, который, въ качествѣ главы римско-католической Церкви, даетъ лицу, избранному правительствомъ нашимъ, каноническое утвержденіе въ епископскомъ санѣ. При обыкновенномъ порядкѣ вещей, Римъ дѣйствуетъ въ подобныхъ случаяхъ чрезвычайно осторожно. Производство такъ называемаго каноническаго процесса (изслѣдованія о качествахъ возводимаго лица), преконизація новаго епископа въ тайной консисторіи, составленіе буллъ и доставленіе ихъ требуютъ много времени; но на этотъ разъ, его святѣйшество, во вниманіи къ положенію варшавской епархіи, немедленно, помимо всѣхъ формальностей и съ полнымъ довѣріемъ къ выбору нашего правительства, провозгласилъ Фелинскаго архіепископомъ варшавскимъ въ консисторіи, собравшейся для сего не въ установленное срочное время. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ милостивомъ вниманіи своемъ къ новоизбранному преосвященному, удостоилъ лично вручить ему палліумъ, и кромѣ того соизволилъ пожаловать ему драгоцѣнный перстень, митру, посохъ и нужныя на устройство облаченія деньги. Хотя со времени вступленія на престолъ нынѣ царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА епископы, назначаемые въ царство польское, будучи избираемы изъ тамошняго духовенства, посвящались въ Варшавѣ; но какъ преосвященный Фелинскій принадлежалъ до настоящаго времени къ духовенству имперіи, и какъ при томъ самыя церкви варшавскія, по распоряженію тамошняго духовенства, закрыты, то посвященіе Фелинскаго въ санъ архіепископа было совершено въ здѣшней столицѣ, при участіи между прочимъ приглашенныхъ сюда епископа-суффрагана варшавской епархіи графа Платера и двухъ каноникова, членовъ тамошняго каѳедральнаго капитула Щигельскаго и Будзишевскаго, которымъ, какъ выше изложено, и прочитаны, во время посвященія, папскія буллы о назначеніи Фелинскаго архіепископомъ варшавскимъ и о пожалованіи ему палліума.

ВИЛЬНО.

Его сіятельство, попечитель виленскаго учебнаго округа, дѣйствительный статскій совѣтникъ князь *А. П. Ширинскій-Шихматовъ* выѣхалъ, 23-го января, въ г. Минскъ.

Виленское еврейское купечество, желая изъявить признательность къ полезной службѣ нижнихъ чиновъ Донскаго казачьяго N. 42 полка и къ спокойному ихъ здѣсь квартированію, просило разрѣшенія, на пожертвованныя онымъ 325 рублей серебромъ, угостить казаковъ, по случаю праздника Рождества Христова.

Главное мѣстное гражданское начальство, поручивъ кому слѣдовало принять таковое приношеніе и благодарить за оное жертвователей, объявляетъ о томъ во всеобщее свѣдѣніе.

По случаю Высочайшаго указа, послѣдовавшаго 27 ноября 1861 года, предоставившаго нѣкоторыя преимущества евреямъ, окончившимъ курсъ ученія въ гимназіяхъ, раввинскихъ училищахъ и университетахъ, а также учителямъ, инспекторамъ, ученымъ евреямъ при попечителяхъ и почетнымъ блюстителямъ, гг. учителя и ученики Виленскаго раввинскаго училища, движимые чувствомъ искренней благодарности, 13 сего января, собравшись въ молитвенномъ домѣ сего училища, послѣ обыкновенной молитвы и произнесеніи проповѣди старшимъ учителемъ Х. Л. Каценеленбогеномъ, въ которой изложены были заботливость и попеченіе ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о благѣ Его вѣрноподданныхъ, совершено было благодарственное молебствіе за долголѣтіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всего Августѣйшаго дома, окончившееся пѣніемъ гимна *Боже Царя храни*.

wo-wyświęcony w całém mszalném ubraniu, bez mitry tylko i bez rękawiczek, ukléknąwszy przed metropolitą, wykonał w języku łacińskim, przed otworzoną Ewangelją, przysięgę na wierność papieżowi, według roty przez kościół rzymski przepisanéj. Po spełnieniu przysięgi, metropolita powstał ze swego miejsca, wziął z ołtarza palljusz i włożył go nowemu arcy-biskupowi na szyję. Po skończeniu tego obrządku, metropolita odśpiewał modlitwę za zdrowie Cesarza i całego Najjaśniejszego Domu.

Tak się odbyło wyświęcenie na arcy-biskupa J. E. ks. Felińskiego i włożenie nań palljusza. Uroczysty to i prawdziwie rozrzewniający obrządek; muzyka, śpiewy, ubranie ołtarza, okazałość szat kapłańskich, i skruszone modły duchowieństwa — wszystko to sprawia na umyśle silne wrażenie. Żałujemy wielce, że szczupły zakres tego artykułu nie pozwala nam tutaj przytoczyć wszystkich modlitw, używanych przy spełnieniu tego obrzędu; tchną one wszystkie wzniosłością myśli i głębokością uczucia. Ażeby dać zupełne pojęcie o obrządku wyświęcenia, potrzeba by było objaśnić znaczenie każdego ruchu, każdego słowa, ponieważ tkwi w tém wszystkiem symbolizm, kryjący w sobie głębokie znaczenie.

Niech nam wolno jeszcze będzie powiedzieć przy téj zręczności słów kilka o nowym arcybiskupie, który został powołany do rządzenia archidiecezją warszawską, i przebywając czas jakiś pośród nas, zjednał poważanie tych wszystkich, którzy mieli zaszczyt wejść z nim w bliższe stosunki.

Jego eminencja ks. Feliks Feliński, obecnie już arcybiskup warszawski, pochodzi z szlachty gubernji wołyńskiéj; początkowe wychowanie odebrał on w gimnazjum klewańskiém, skąd udał się do Cesarskiego Moskiewskiego uniwersytetu, gdzie w 1844 r. skończył całkowity kurs nauk filozoficznego fakultetu. Chcąc się poświęcić służbie ołtarza, wstąpił do łuckiego rzymsko-katolickiego seminarjum r. 1851, a odbywszy w niém zupełny kurs nauk teologicznych, przeniesiony był jako celujący alumen do tutejszéj rzymsko-katolickiéj Akademji duchownéj. Wysokie jego zdolności i moralność bez skazy, zwróciły nań szczególniejszą uwagę zgasłego metropolity ks. Hołowińskiego, sprawującego wówczas urząd Rektora Akademji. W późniejszym zaś czasie, teraźniejszy metropolita R. K. ks. Żyliński, mając zamiar zostawić go przy akademji dla dalszych prac naukowych, za zgodą biskupa diecezji łucko-żytomierskiéj ks. Kaspra Borowskiego, przeniósł go do swojéj diecezji. Skończywszy kurs nauk w Akademji i otrzymawszy stopień kandydata świętéj teologji, ks. Feliński otrzymał święcenie kapłańskie d. 18 września 1855 r. i wkrótce potém został mianowany wikarjuszem przy tutejszym kościele parafjalnym św. Katarzyny. W r. 1856 zaszczycony został stopniem magistra św. teologji, i utwierdzony w nim r. 1857. Z kolei został kapelanem alumnów akademji. Dzisiejszy arcybiskup mohylewski, metropolita wszech rzymsko-katolickich kościołów w Cesarstwie, który zawsze cenił wysoko przymioty umysłu i serca jego eminencji ks. Felińskiego, naznaczył go, za zgodą ministerjum spraw wewnętrznych, professorem logiki i filozofji moralnéj w akademji; na téj posadzie przetrwał on aż do chwili mianowania go arcybiskupem Warszawskim. Bez obawy obrażenia skromności jego eminencji ks. Felińskiego, śmiało rzec możemy, że prócz erudycji i wrodzonego rozsądku, rozwiniętego nauką, posiada jeszcze przymiot niezrównany i droższy nad wszystkie zdobycze nauki i rozumu:—oto jest kapłanem w pełném najdostojniejszem znaczeniu tego wyrazu, t. j. człowiekiem cichym, pełnym bojaźni Bożéj, prawdziwie pobożnym, który poświęcił siebie na usługi ludzkości, bezinteresownie, bezwarunkowo, z zaparciem się samego siebie, tak rzadkiém pomiędzy ludźmi. Wedle opowiadania wszystkich jego znajomych, jest on, że tak powiemy, ofiarnikiem biednych, którym oddaje wszystko co tylko mieć może. Działalność jego na polu dobroczynności wyszła najzupełniéj na jaw w założeniu ochrony dla biednych sierot, mieszczącéj się na 14 linji Wasiljewskiego ostrowu; blizko 100 sierot dziewcząt znajduje w niéj przytułek, pewne jutro, i wdraża się do pracy i uczciwego życia. Jego eminencja ks. Feliński natchniony sam duchem wiary i miłosierdzia, lecz nie posiadając bogactw ziemskich, umiał wlać ten duch miłości w tych wszystkich, których serca nie próżne były chrześcijańskiego miłosierdzia; za ich to właśnie pomocą i z zebranych od nich ofiar założoną została owa ochrona i doprowadzona do prawdziwie kwitnącego stanu. Nie oszczędzał też samego siebie dla biednych: oddawał im wszystko, czas swój, pracę i wszystkie zasoby swoje. Życie płynęło mu cicho śród modlitwy, pracy i dobrych uczynków; ale przeznaczenie chciało, ażeby się wszystko zmieniło. Czytelnikom naszym wiadome są wypadki zaszłe w Królestwie Polskiém; wiadomo także, że duchowieństwo rzymsko-katolickie wzięło w nich czynny udział, i że nakoniec arcybiskup Warszawski Fijałkowski zakończył swój żywot. Zarząd djecezją przyszedł do rozprzężenia, kapituła katedralna wybrała na administratora człowieka, który się okazał zupełnie niezdolnym do uspokojenia wzburzonych w tym kraju umysłów; zamknięcie zaś wszystkich kościołów Warszawskich pod pozorem sprofanowania dwóch z pomiędzy nich podczas zaburzeń, wzmogło bardziéj jeszcze szemranie jeżeli nie narodu, to przynajmniéj mieszkańców Warszawy. Na rządcę diecezji potrzebny był człowiek z umysłem stanowczym i niezachwianym;—człowiek oddany kościołowi i prawdziwym interesom narodu. Wybór CESARZA padł na Felińskiego, gorliwego katolika i wiernego poddanego.

W myśl XII-go artykułu konkordatu zawartego z dworem rzymskim r. 1847, mianowanie biskupów rzymsko katolickich w Cesarstwie i Królestwie Polskiem dzieje się po uprzedniem skommunikowaniu się z papieżem, który jako głowa rzymsko-katolickiego kościoła, utwierdza kanonicznie wybraną przez rząd nasz osobę w godności biskupa. W zwyczajnym biegu rzeczy, Rzym działa w podobnych razach nadzwyczaj ostróżnie. Przewód tak zwanego processu kanonicznego (zbadania przymiotów osoby podnaszanéj na tę godność), prekonizacja nowego biskupa na konsystorzu tajnym, ułożenie bull i przesłanie ich potrzebują wiele czasu; lecz na ten raz Jego Świątobliwość, uwzględniając stan diecezji Warszawskiéj, z opuszczeniem wszystkich formalności i z zupełném zaufaniem w wybor naszego rządu prekonizował ks. Felińskiego arcybiskupem Warszawskim w konsystorzu, zwołanym nie w czasie zwykle na to przepisanym. CESARZ JEGO MOŚĆ pełen najmiłościwszych względów dla nowo-wybranego arcybiskupa, raczył mu osobiście wręczyć palljusz i prócz tego dać mu kosztowny pierścień, mitrę, pastorał i potrzebne na sprawienie szat pieniądze. Chociaż od chwili wstąpienia na tron panującego dziś CESARZA, biskupi mianowani na Królestwo polskie, jako wybierani z łona tamecznego duchowieństwa, konsekrowani byli w Warszawie; jednak z uwagi, że jego eminencja ks. Feliński należał dotąd do duchowieństwa w Cesarstwie, i że prócz tego kościoły Warszawskie były zamknięte z rozkazu tamecznego duchowieństwa, wyświęcenie Felińskiego odbyło się w tutejszéj stolicy, jednak ze współudziałem wezwanych tutaj: biskupa sufragana diecezji warszawskiéj hr. Platera i dwóch prałatów, będących zarazem członkami tamecznéj kapituły katedralnéj kks. Szczygielskiego i Budziszewskiego, którym też i odczytane zostały podczas konsekracji bulle papieskie o mianowaniu Felińskiego arcybiskupem Warszawskim i o nadaniu mu palljusza.

WILNO.

Jaśnie oświecony książę *Szyryński-Szychmatow*, kurator naukowego okręgu Wileńskiego, rzeczywisty radca stanu, d. 23 stycznia wyjechał do Mińska.

Kupcy-żydzi Wileńscy, chcąc okazać swą wdzięczność *żołnierzom półku 42-go kozaków Dońskich, za ich pożyteczną służbę, i spokojne zachowanie się podczas postoju* ich tutaj, prosili, by dozwolono było ofiarowaną przez nichże summę, w ilości 325 rub. sr., użyć na ugoszczenie kozaków podczas świąt Bożego Narodzenia.

Główny miejscowy urząd cywilny, poruczywszy komu należy przyjąć tę ofiarę i podziękować za nią ofiarodawcom, podaje o tém do wiadomości powszechnéj.

Z powodu ukazu Najwyższego nastałego d. 27 listopada 1861 roku, którym nadane zostały niektóre prerogatywy żydom, którzy skończyli kurs nauk w gimnazjach, szkołach rabbińskich i uniwersytetach, a także nauczycielom, inspektorom, żydom uczonym przy kuratorach i honorowym nadzorcom,—pp. nauczyciele i uczniowie Wileńskiéj szkoły rabbińskiéj, powołowani uczuciem szczeréj wdzięczności, zebrawszy się d. 13 b. m. stycznia w domu modlitwy tejże szkoły, po zwyczajnych modlitwach i kazaniu mianém przez starszego nauczyciela Ch. L. Kacenellenbogena, w któréni zwrócił uwagę na dbałość i troskliwość NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA JEGO MOŚCI o pomyślność wiernych Jego poddanych, odprawione było dziękczynne nabożeństwo o długie lata JEGO CESARSKIEJ MOŚCI i całego Najjaśniejszego Domu, które się zakończyło odśpiewaniem hymnu: *Boże Cesarza zbaw!*

SIEROTA

CZYLI

PAMIĘTNIKI SIEDMDZIESIĘCIOLETNIEJ STARUSZKI.

OPOWIADANIE Z CZASÓW

STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO.

przez

MAKSYMILJANA WERESZCZYŃSKIEGO.

(*Dalszy ciąg ob. N. 7.*)

Rok już przeszło mijał od wyjazdu ojca mojego, przeto uznała za stosowne wyjechać za nim; zabrawszy więc młódszą siostrę i wszystko co się tylko z rupieci zabrać dało, pobłogosławiwszy mnie stokrotnie i oddawszy pod bezpośrednią opiekę siostry swéj a mojéj ciotki, zakonnicy, na krótki czas tylko, jak mówiła, opuściła nas wszystkich i swoje rodzinne miasto, ale niestety! dzień 17-ty sierpnia 1785-go r. był ostatnią chwilą pieszczot matki ze mną: w tym dniu zostałam zupełną sierotą, chociaż oboje rodzice żyli, ciesząc się pożądanem zdrowiem.

Oto jest wszystko, co mi w młodocianéj utkwiło pamięci o dawcach życia mojego. Odtąd, niemiałam od nie żadnéj wiadomości, zamężna już tylko dowiedziałam się trafem, że jeszcze za życia ciotki, któréj mnie polecono opiece, w siedm lat po wydaleniu się mojém z tamtych stron, przyjeżdżała matka moja, chcąc zabrać mię z sobą, lecz nieznalazłszy mnie i niewiedząc gdzie szukać, odjechała nazad, niezostawując po sobie żadnego śladu. Dziadek osiadł przy klasztorze XX. Bernardynów zapisawszy im cały swój źle nabyty majątek do stu tysięcy złotych pols. w gotowiznie wynoszący, dom zaś obszerny i dwa ogrody oddał na szpitale.

W ósmym więc roku życia mojego wyszłam na świat. Brak rodziców bardzo mi się czuć dawał; nieznałam co to są pieszczoty i pieczołowitość macierzyńska, których nikt i nic nie jest w stanie zastąpić, a tém bardziéj zakonnica, w sercu któréj z czasem obumierają wszelkie uczucia, będące ozdobą płci naszéj. Podobnego rodzaju osoba, jeżeli oblekła suknię zakonną nie z powołania, pochodzącego z głębi duszy przepełnionéj miłością Boga, lecz dla widoków familijnych, lub z woli rodzicielskiéj jakto u nas dawniéj bywało, kiedy przy urodzeniu syna ojciec stanowczo wyrokował: Jaś będzie księdzem—Staś palestrantem—Kazio żołnierzem—żeby nierozdrobić majątku,—Wanda zostanie mniszką—i tym podobnie, tego rodzaju powtarzam osoba, zostaje zwykle nieznośną dewotką, klepiącą w niezrozumiałym sobie języku wpółsennа, ustami tylko, pacierze bez końca, w celi zaś swojéj zabawia się strojeniem, uwijaniem w pieluszki i kołysaniem bałwanków, których nazywa swym Bogiem, ponieważ w zdziecinniałym przed czasem umyśle, mniema, że piastuje Chrystusa, a przyśpiewując kaczkowatym tonem: »Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go matulu z płaczu utulaj,« pieści się z nim jak matka z żywém dziecięciem. Wszystko to zaś pochodzi ze zwichnięcia powołania kobiety, którą dobry nasz Stwórca przeznaczył na towarzyszkę mężczyznie, na dawczynię mu życia, na piastunkę i Anioła stróża w jego niemowlęctwie, i na osłodę w troskach i frasunkach gorzkiéj pielgrzymki w dojrzalszym wieku. Darujcie mi wszyscy, których zdania o powołaniu kobiéty różnią się od mego, tak sądzę w mém przekonaniu i to samo mi z ust co z serca wypływa; mówię to zaś z doświadczenia, bo na własne oczy widziałam tego niejednokrotne przykłady. Lecz nie myślcie z tém wszystkiém, abym tak sądziła o wszystkich zakonnicach bez wyjątku,—są pomiędzy niemi poświęcające się cierpiącéj ludzkości, które oddane temu zawodowi, nieszczędzą ani zdrowia, ani mienia własnego, na ulżenie nieszczęściom i niedoli nędzarza; są to jednakże błahe wyjątki z ogólnéj reguły i dość na nie rzadko natrafiać się zdarza.

Ciotka popieściwszy się zemną dni kilka, żeby mnie przez to przygłaskać do siebie, obróciła mnie na swoją pokojówkę. Obdarzona bystrém pojęciem, nauczyłam się w przeciągu dość krótkiego czasu, rozmaitych ręcznych robot, któremi się tak sławią nasze klasztory, i którychby druga nie zdołała przejąć w lat dziesięć. Kochana opiekunka po całych dniach się modliła, lub wróciwszy z chóru wylegała się w przyjemném far niente; a ja, od godziny czwartéj z rana do dwunastéj w nocy, musiałam ślęczéć nad wyszywaniem korunkowych rokiet dla ojców duchownych klasztoru; kwiaty przezemnie robione tak były poszukiwane, że nastarczyć ich niebyłam w stanie; oprócz tego, obowiązaną byłam codziennie chodzić do miasta za pokupkami różnego rodzaju, z wyraźnem zalecaniem zbierania co najwięcéj nowinek, pod nazwiskiem: »wiadomości światowych,« miejscem zaś gdzie o nich późniéj, w klasztorze, dowiedzieć się można było, (niegniewajcie się moi drodzy, gdyż historyka najpierwszą zaletą powinna być szczerość) był zakątek, który w zakonnym dykcjonarzu, mieści się pod słowem »Loka.« Tam można było usłyszeć, kto i za kogo wychodzi za mąż; ile się dzieci urodziło w ostatnich dwudziestu cztérech godzinach w sześciomilowym obrębie od miasta; ile potraw i jakich w dniu tym gotowano w każdym domu; które małżeństwo pokłóciło się i mąż grubijańsko obszedł się z żoną,—i tym podobne; a wszystko to stokroć powiększone lub zmniejszone, podług usposobienia umysłu lub kaprysu mówiącéj. Bywało nieraz, że ja, autorka nowinki, niepoznawałam jéj zupełnie w trzecich, a najwięcéj jeżeli w czwartych ustach: tyle tam było satyrycznego dowcipu i hyperbol poetycznych, a wszystko to dla większego zaintrygowania słuchających; nie wiedziano o tém, że najczęściéj ów płód mojéj wyobraźni niewart był wspomnienia, gdyż był prostą ploteczką dla przypodobania się ciotce wymyśloną, a któréj rzeczywistość pomimo to opowiadająca przysięgą nawet stwierdzić gotowa była. A jednakże za tyle trudów czy wiecie jak mi droga moja wypłacała się ciocia? Oto nie zgadniecie nigdy, że musiałam przestawać na funcie chleba czarnego przeznaczonego dla czeladzi, z dodatkiem postnych kartofli i rumfordskiéj zupy, gotowanéj z kości pozostałych od obiadu zakonnic; trzy dni w tygodniu niejeść nic gotowanego, ażeby ciału niepozwolić »brykać,« jak twierdziła ta święta matrona. W nagrodę za roboty, któremi siostra Monika Konwerska handlowała, obracając wszystko na ogólny klasztoru pożytek, odbierałam sowite dyscypliny, których mi nieszczędziła moja opiekunka, wróciwszy z refektarza po odbytém De profundis lub Miserere. *) (d. c. n.)

*) 129 i 6-ty Psalmy Dawidowe, przy odmawianiu których zakonnicy, w dni ścisłych postów, dla większego umartwienia ciała, zwykli się biczować.

Dział nieurzędowy.

Wiadomości zagraniczne.

POGLĄD OGÓLNY.

Wnet nazajutrz po otwarciu parlamentu francuzkiego senat i ciało prawodawcze rozpoczęły swe prace. W pierwszéj izbie zagaił je sędziwy prezes Troplong przez ustanowienie komissji adresowéj, w drugiéj zaś hr. Morny przez wezwanie deputowanych, aby, nim do rozpraw nad adressem przystąpią, roztrząsnęli i zagłosowali projekt do prawa, zamieniającego obligacje półpiąta-procentowe na trzy-procentowe. Niechcemy wchodzić tu w tłómaczenie na czém ta skarbowa robota polega, bo czytelnicy znajdą dostateczne tego przedmiotu wyjaśnienie w samych rozprawach, które już rozpocząć się musiały, a które Monitor wiernie powtórzy. Rzecz sama z siebie jest nader ważna, nie będziemy więc mogli pominąć dać o niéj dostatecznéj choć treściwéj wiadomości.

Na pierwszém posiedzeniu ciała prawodawczego, hr. Morny w pięknéj mowie, którąśmy niżéj umieścili, złożył należny hołd cesarzowi za zrzeczenie się prawa szafowania groszem krajowym bez uczęstnictwa izby, oddał sprawiedliwość przedstawicielom narodu, że spokojnem, poważnem, ale wytrwałem dopominaniem się o rozszerzenie swych praw w tym względzie, otrzymali nakoniec jednę ze stanowczych rękojmi swobody narodowéj. Daléj hr. Morny starał się skłonić izbę, aby układ i roztrząśnienie adresu na niejaki czas odłożywszy, zajęła się najważniejszém dziś zadaniem uporządkowania skarbowości. Nakoniec, zwracając się do bezpośrednich obowiązków swoich prezydującego, hr. Morny zapowiedział, że biorąc przykład z parlamentu angielskiego, nie dozwala, chyba w nadzwyczaj rzadkich zdarzeniach, mów czytanych. Przyczyna tego obostrzenia jest daleko głębsza, niż się na pozór zdaje. Poseł sejmowy, który już z gotowym głosem na izbę przybywa, radzi, ale nieobraduje. Dla niego cały pożytek wszechstronnego rozstrząśnienia przedmiotu ginie, wszystkie szczęśliwe ale w chwili rodzące się myśli, jak błyskawice ciemności rozpędzić zdolne, są stracone. Jeżeli więc który z posłów, a takich zapewnie nie mało się znajdzie, nie jest mówcą i koniecznie pomocy pisma używać musi do wyrażenia swych myśli, niech służy krajowi, upowszechniając je w drodze druku, ale niech nie trwoni czasu izby czytaniem przed nią swych wypracowań. Kazalnica kościelna i mównica sejmowa nie powinny być zamieniane na czytelnie. Hr. Morny pięknie to wypowiedział, bez wątpienia nie podoba się to wielu posłom, którzy będą musieli z domu przywiezione mowy dla potomków zachować, ale pośpiech i użyteczność obrad na tem zyszczą; słusznie bowiem hr. de Morny przypomniał, że nie na to izba utrzymuje stenografów, aby rękopisma przepisywali.

Na pierwszém posiedzeniu senatu i ciała prawodawczego, przyjętym od roku przeszłego porządkiem, ministrowie bez wydziału złożyli obu izbom obraz stanu Francji w roku 1861; dołączona do téj pracy została tak zwana księga żółta, która na wzór angielskiéj księgi sinéj, obejmuje wszystkie ważniejsze dyplomatyczne dokumenta, będące w związku z ogólnym biegiem polityki w upłynionym roku. Na ten raz w drodze wyjątkowéj, weszły do żółtéj księgi najświeższe depesze, już w bieżącym roku wysyłane i otrzymywane. Nadzwyczajna ich ważność usprawiedliwia to odstąpienie od ogólnego prawidła; ta ważność jest tak niczaprzeczona, że wszystkie dzienniki, wspomniane depesze pochwyciły i powtórzyły je w zupełności w swych słupach. Nikogo to nie zdziwi, ktokolwiek pilnie odczyta rzeczone pisma, mianowicie notę pana Thouvenel do posła francuzkiego w Rzymie i sprawozdanie margrabiego de Lavalette z rozmowy mianéj z ojcem ś. i kardynałem Antonelli. Umieściliśmy te obadwa pisma w wiernym przekładzie w dzisiejszym Kurjerze. Są one jakby kluczem do téj tajemniczéj skrzyni, w któréj dola Włoch spoczywa. Dziś nakoniec już jest wiadomo, że rząd francuzki oswoił się z myślą Włoch jednolitych i o wskrzeszeniu dawnego politycznego ich podziału nie myśli. Wiadomo, że baron Ricasoli w ciągu lata zabiegał u dworu francuzkiego, aby wygotowany przezeń plan przyszłych stosunków stolicy ś. z Włochami, cesarz Napoleon wziął pod swoje orędownictwo i skłonił dwór rzymski do jego przyjęcia. Wiadomo i to, że cesarz Francuzów, znajdując tę drogę niewłaściwą, żądanie barona Ricasoli odrzucił. Wszakże sprawa rzymska, będąca jedném z najgłówniéjszych zadań ludzkości, nie mogła pójść w zapomnienie. Parlament francuzki miał dopomnieć się u rządu objaśnień w téj mierze, a więc p. Thouvenel dnia 11 stycznia poruczył margrabiemu de Lavalette przełożyć ojcu ś. potrzebę ugody. Postępując z najgłębszém i tak ze wszystkich względów należytém uszanowaniem dla głowy kościoła, cesarz poruczył posłowi swojemu prosić jego świątobliwości, aby sam raczył skreślić warunki ugody, rząd zaś francuzki, skoro je za możliwe uzna, wytęży całą usilność, aby te w Turynie przyjętemi zostały. Z wielką zręcznością, Thouvenel ominął wszzystkie szczegóły drażliwe, nie tłómacząc się nawet co myśli o roszczeniach włoskich posiadania Rzymu za stolicę, stara się złamać pierwsze lody, uprzątnąć pierwsze zawady, t. j. dowieść, że Emilja, Marchje i Umbrja są niepowrótnie stracone. Przełożenie rządu francuzkiego, aby sam ojciec ś. skreślił osnowę przyszłéj ugody odpowiada i godności najwyższéj głowy kościoła i nawet temu pierwszeństwu światowemu, jakie tron papieski po wszystkie czasy zachować powinien. Kiedy margrabia de Lavalette przekładał ojcu ś. potrzebę tego kroku, Pius IX, z wrodzoną sobie dobrotliwością odpowiedział: Czekajmy wypadków, co zdawałoby się zostawiać jakąś iskierkę nadziei. Ale kardynał Antonelli, według słów margrabiego de Lavalette, w sposób zupełnie stanowczy, odpowiedział: że żadne układy miejsca mieć niemogą, że ani dziś panujący papież, ani conclave, ani żaden z następców na stolicę ś. Piotra, w nieskończonéj kolei wieków, najdrobniejszéj nawet cząstki posiadłości kościelnych nie ustąpi. A kiedy na żądanie posła francuzkiego kardynał Antonelli przyrzekł raz jeszcze przełożyć ojcu ś. żądanie dworu francuzkiego, w udzielonéj margrabiemu de Lavalette nazajutrz odpowiedzi oznajmił: że nic do tego, co wczoraj wyrzekł, niema ani do dodania ani z niego do ujęcia. Margrabia de Lavalette, donosząc o bezskuteczności swych starań panu Thouvenel, kończy pismo swoje następnemi, pełnemi znaczenia wyrazami: uchybiłbym mojéj powinności, zostawując panu ministrowi nadzieję, któréj sam nie posiadam.

Tak więc rzeczą jest niezawodną, że w drodze polubownéj nie ma dla sprawy rzymskiéj rozwiązania. Cokolwiek bądź należy pilnie czytać i odczytywac oba pisma, bo są one początkiem nowych dróg dla rządu francuzkiego i będą zapewne podstawą rozpraw w izbach, nie tylko parlamentu francuzkiego ale i angielskiego, który właśnie wczoraj t. j. we czwartek 6 lutego otwartym został.

Dzienniki zagraniczne, nie wskazując w jaki sposób załatwi się rozwiązanie téj światodziejowéj sprawy, spodziewają się jednak że załatwić się musi. Według naszego zdania, przeceniają one zanadto doniosłość niedawnych objawów, które miały miejsce w Rzymie i z ich powodu Nord czyni następne uwagi: „Dziennikarstwo paryskie zajęte toczącemi się bliższemi go wypadkami, nie zwróciło, podług nas dostatecznéj uwagi na szczegół zawierający w sobie zawięź tak pożądanego i tak naglącego rozwiązania sprawy rzymskiéj. W okrzykach: niech żyje papież nie król! które pierwszy raz zabrzmiały w ustach ludności rzymskiéj, mieści się cały programmat, te okrzyki są rzeczywistem i trafnem godłem obecnego położenia. W istocie ich rzetelne znaczenie wyraża: niech żyje papież, głowa kościoła wolnego, arcykapłan duchowny! ale z drugiéj strony znaczą: niech żyje głowa państwa wolnego, niech żyje król włoski! Jest to okrzyk wyrozumowany, spokojny, dowodzący, że wszelka dźwignia nienawiści jest obcą usiłowaniom mieszkańców Rzymu i Włoch w odzyskaniu praw obywatelskich i narodowych, wbrew zabiegom i wmawianiom tych, którzy starają się roznamiętnić umysły i wyrodzić w walkę, chorobę moralną wypływającą ze sprzeczności istniejącego jeszcze stanu rzeczy. Rzymianie, synowie kościoła katolickiego, pozdrawiają szczeremi okrzykami swą najwyższą duchowną głowę. Obywatele królestwa włoskiego wzywają z całéj duszy swą głowę świecką, swego króla. Rozróżniają dwie osobne władze, protestują ale nie przeklinają. Bo w istocie najmniejszy głos goryczy, najmniejszy wyraz potępienia byłby tu nie na miejscu. Tylko zmącenie władz sprowadza nieład i zawichrzenie. Rozdzielcie je, a wszystko wróci, tak pod względem materjalnym jak moralnym, do właściwego trybu. W dniu, w którym głowa katolicyzmu wydobędzie się z kajdan świeckich, stanie się przedmiotem najdobrowolniejszych i bezwarunkowych uwielbień.

Duch ostatnich objawów dowiódł, że ludność rzymska, co do swych pragnień ulega rozumnéj, moralnéj karności, że jest przejętą jasnem, umiarkowanem samopoznaniem praw sobie służących. Postępowanie jéj również dowodzi, że idea, że formuła ogłoszona przez hr. Cavour, a popierana przez barona Ricasoli ogarnęła już sumienia Włochów, nim ogarnie sumienie całego katolickiego oświata.

Powiedzieliśmy w przeszłym Poglądzie, że podamy w treści sądy dziennikarstwa angielskiego i niemieckiego o mowie cesarza Francuzów. Stary Times mówi, że jest prawdziwie szczęśliwym, iż wolno mu objawić, że Napoleon III w mowie, którą zagaił posiedzenia prawodawcze 1862 roku, zajął właśnie stanowisko, jakie dziennik Times rozumiał, iż zająć był powinien. Mowa jest serdeczna dla Anglji i wszystkich jéj sprzymierzeńców; wskróś przejęta duchem pokoju, a że, jak ten dziennik mówi: „potęga naszego przyjaciela jest naszą własną potęgą, cieszymy się widząc w słowach cesarza zapewnienie, że rozsądek i oszczędność będą na przyszłość rozwijane jako cnoty cesarskie, że dogodności handlowe wezmą pierwszeństwo przed wymaganiami sławy i rozszerzenia granic.“

Jedyny ustęp, który wywołał rozdźwięk z głosem głębokiego pokoju panującym w mowie cesarskiéj, jest właśnie ten, w którym Napoleon mówiąc o wojnie domowéj, trapiącéj Amerykę, rzekł, że Francja powinna ograniczyć się, dopóki prawa neutralnych będą szanowane, życzeniem, aby te niezgody co najprędzéj ustały. Napoleon III mógł był wspomnieć tylko o prawach neutralności służących Francji, ale uogólniane wyrażenie zdaje się lepiéj przypadać do wynikłości interwencji, dążącéj do położenia końca międzynarodowemu nadużyciu bezskuteczniéj blokady.

Dziennik Times mówi daléj, że cesarz daje tak ponętny obraz dobrodziejstw pokoju, iż chętnie chciałoby się uwierzyć, że się do niego szczerze nawrócił. Jeżeli cesarz, dodaje, chciałby poprzestać, wolny od kłopotów zewnętrznych, na użyciu swej wielkiéj potęgi, na korzyść pokoju i swobody Europy, wówczas może stać się wielkim dobroczyńcą ludzkości, gdyż dotąd rozumiano niekiedy, że stanie się biczem. Jeśli dotrzyma wszystkich obietnic swéj mowy, Europa odetchnie nadzieją, któréj dotąd nie posiadała, że po upływie nowych lat dziesięciu, Napoleon III powie ze słuszną chlubą, iż pod jego panowaniem, Francja przebyła nowe dziesięciolecie, wśród spokoju zadowolonych ludności i zgody wielkich ciał państwa.

To zdanie głównego organu mniemania powszechnego w Anglji, jest zbyt jednostronne, zbyt wypływające z czysto angielskiego poglądu, aby odpowiadało wszystkim warunkom sprawiedliwości. Dziennik Times pisany dla kupców nie widzi nic wyższego, nie świętszego na niebie i ziemi, jak pomyślność handlową. Posłuchajmy co również poważny organ nadreński, Gazeta Kolońska o mowie Napoleona III powiedziała:

„Europa oczekuje zawsze z trwogą mów cesarza Francuzów i słusznie przywiązuje pewną ważność do jego wyrazów. W niniejszym roku pozdrowienia nowego lata nie stały się, jak w roku 1859, powodem do niepokojących objawów; cesarz mówił o pokoju i pojednaniu a wczorajsza jego mowa była tylko parafrazą owego rozgłośnego zdania: cesarstwo to pokój.

Mowa tchnie pokojem i przyjaźnią dla wszystkich, a szczególniéj dla Prus. Kiedy rzekł: „Wszystkie wieści umyślnie rozsiewane o urojonych roszczeniach, upadły same z siebie, w obec prostéj rzeczywistości czynów,“ zdaje się, iż jest to zadaniem kłamstwa wszystkim zachceniom Francji na lewy brzeg Renu. W roku przeszłym wnet po widzeniu się cesarza Napoleona z królem pruskim, ukazała się broszura, któréj źrzódła domyślano się w sferach rządowych i która obalała roszczenia do granicy reńskiéj, temiż samemi dowodami, jakich używał w 1814 Ernest Maurycy Arndt w piśmie swojem: „Ren, rzeka niemiecka, ale nie granica Niemiec.“ Słusznie możnaby cieszyć się z tego postępu wyobrażeń naszych sąsiadów; żałować tylko przychodzi, że w téj broszurze znajdujemy lekką wzmiankę o małém sprostowaniu granic, o ustąpieniu Francji obwodów Landau i Sarre-Louis. O tém nigdy mowy być nie może.

Niemcy aż nadto poczyniły już ustępstw na swéj zachodniéj granicy, w wiekach, których hańba nigdy się już nie wznowi. Niemcy daléj pójść nie mogą w swém umiarkowaniu, jak kiedy nie dopomną się o zwrót Lotaryngji i Alzacji, lub kiedy przynajmniéj nie wytoczą z tego powodu wojny. Ale jeśliby Francja ją wypowiedziała, wówczas, w razie zesłania nam z miłosierdzia boskiego zwycięztwa nie moglibyśmy za poświęcenia nasze mniéj żądać, jak powrótu naszych starych granic. P. Thouvenel w roku 1860 w ogłoszonéj nocie wyraźnie powiedział, że Francja nie potrzebuje żadnego sprostowania granic od północy i wschodu, dziś z radością czytamy w mowie tronowéj, że Francja wyrzeka się urojonych roszczeń. Wzmianka uczyniona przez cesarza nie tylko o królu ale o narodzie pruskim, wówczas dopiero będzie dla nas prawdziwie zaszczytną, kiedy Prusacy, pracując nad rozwojem swojéj konstytucji, do tego dójdą, iż wolno im będzie głos podnieść w najważniejszych sprawach świata.

Wybraliśmy umyślnie zdania dwóch głównych organów, dwóch wielkich i wyzwolonych narodów Europy. Nie chcemy czynić im zarzutu jednostronności, ale zaprawdę nie łudzi nas miłość własna, kiedy ośmielamy się niekiedy wierzyć, że trafniéj pojmujemy i oceniamy bieg ogólny polityki europejskiéj. Namiętność nie ćmi naszego sądu, podrzędne i chwilowe wypadki nie wpływają na jego skażenie, tylko wielkie, nieśmiertelne zasady wiary, prawa i miłości ludzi przyświecają nam w rozpamiętywaniu spółczesnych dziejowych zdarzeń.

Włochy.

Rzym 14 stycznia. Czytamy w liście pisanym do dziennika paryzkiego *Czas*;

Ojciec św. uroczyście pobłogosławił lokomotywę, która miała odwieść do Ceprano (na granicy neapolitańskiéj), pierwszy pociąg. Już od kilku lat jeżdżono w tym kierunku z Rzymu do Frascati; dziś zagajona droga jest przedłużenie n kolei z Frascati do Neapolu. Na ziemi neapolitańskiéj, prace jeszcze nie ukończone, ale wkrótce ukończonemi będą. Za kilka najdaléj miesięcy można będzie w 5 godzin odbywać podróż z Rzymu do Neapolu.

Ta nowa droga przebiega kraje, gdzie niegdyś zwyczajnie zatrzymywano dyliżanse, na któréj zbójcy odzierali i wymagali okupu od podróżnych. Koléj żelazna skuteczniéj niż dawne kazania dźwignie moralność we Włoszech; przyczyni się nawet do ulepszenia błot pontyńskich, do których przytyka na całéj ich długości. Ten podwójny pas żelazny mieści w sobie zaród potężnéj cywilizacji.

W chwili kiedy to piszę, ksiądz Chigi musi już być w Paryżu. Potomek książęcego rodu, młodziuchny, wszedł do szlacheckiéj gwardji Grzegorza XVI. Przez lat 15-cie, nosił jéj mundur, jeden z najpiękniejszych w świecie wojskowym. Po wstąpieniu na tron Piusa IX i po zagajeniu włoskiego ruchu w 1847 r., książę Chigi, mający wówczas blisko lat 40, uczynił co zwykle czynią najrozumniejsi, najzręczniejsi i mający potężne protekcje gwardjacy; zrzucił mundur, wdział fioletowe pończochy i sutanellę.

Dziś panujący ojciec św. Pius IX, był także wojskowym i pod Piusem VII-m został prałatem, jest to rzecz bardzo powszechna w Rzymie. Znajdziesz tu ogrom zakonników i ubogich księży, którzy w pierwszéj młodości oddają się stanowi duchownemu. Lecz synowie znakomitych rodzin, ci którzy kiedyś rządzić mają, pierwszą młodość zwykle spędzają w wojsku; w jego szeregach wyburzy się ogień pierwszéj młodości, a kiedy już nastąpi wiek doświadczenia, kiedy umilkną namiętności, przywdziewają wówczas suknię duchowną i masz ludzi dojrzałych, spokojnych i pełnych hartu. W organizacji rzeczy rzymskich przewodniczyło głębokie doświadczenie.

Dzisiejszy nuncjusz nie odznacza się niczém nadzwyczajném. Jest to mąż zdolny i z łatwością poruszający zwykły bieg spraw dyplomatycznych. Wierny podaniom swojego domu, odznacza się szczerem przywiązaniem do Piusa IX. Książę Zygmunt, dzisiejsza głowa domu, piastuje dostojność marszałka kościoła świętego; jego bracia prawie wszyscy są półkownikami, lub innymi dowódcami wojska. Jeden z jego synów don Carlo umarł podpółkownikiem we 22 roku życia przed kilku tygodniami. Don Flavio, dzisiejszy nuncjusz był stryjem tego młodzieńca; boleść po jego stracie opóźniła wyjazd nuncjusza do Paryża, przypisywany Bóg wie jakim *politycznym przyczynom*.

Jenerał Goyon stara się łagodzić wszystkie chropowatości, bo chociaż żołnierz, jest on nadzwyczaj łagodnym. Dla tego też, to wszystko co mówiono o jego zajściu z księdzem de Merode, z powodu osadzenia Alatri na granicy neapolitańskiéj, było bardzo przesadzone. Skończyło się na tém, że w Alatri stoi załoga rzymska, któréj dodano oddział 60 żołnierzy francuzkich.

Niektórzy patryoci rzymscy otrzymali tu tajemnie dziennik ojca Passaglia *Pośrednik*. Widziałem jeden jego numer; zdaje się, że autor dzieła: *Pro causa Italica* z każdym dniem staje się wyzwoleńszym.

Turyn 21 stycznia. Prawo podnoszące o 10 część, cenę przewozu osób i towarów po drogach żelaznych, zostało dziś zagłosowane bardzo znaczną większością i dziwnym sposobem znamiętniło obrady; zabrały one 3 posiedzenia. Izba wysłuchała dwóch mów dość żwawych pp. Pepoli i Depretis, i dwóch bardzo poważnych panów Peruzzi i Bastoggi.

P. Peruzzi znajdował się na swém właściwém polu; jest on biegłym mówcą, z wielką zręcznością używa dowodów, których obficie dostarcza właściwa mu a głęboka znajomość przedmiotu. Część uwag swych, mówiących za przyjęciem prawa, czerpał w téj saméj zbrojowni, z jakiéj jego przeciwnicy swoje dowody brali; to jest z rozpraw toczonych w tymże przedmiocie we Francji, i najjaśniéj okazał, że przeciwnicy projektu do prawa, najniewłaściwiéj stosowali czerpane w rzeczonych rozprawach pomysły.

P. Peruzzi na témże posiedzeniu, d. 20 stycznia, zmuszony był raz jeszcze głos zabrać, dla odparcia cudackiego zarzutu książęcia San-Donato, posła neapolitańskiego. Książe San-Donato użył wyrazów tak zuchwałych i nieprzyzwoitych, że ze wszystkich ław przywoływano go do porządku; prezes okazał się zbyt pobłażliwym, ale p. Peruzzi w kilku słowach dobitnych i stosownych, zmusił swego przeciwnika do milczenia.

Dziś cały zaszczyt posiedzenia, należy się mowie hrabiego Bastoggi. Kształt jéj wyborny, żywy, niespodziany; szczęśliwe zwróty połączone z wartością treści, stanowią zasługę mówczą ministra skarbu włoskiego i czynią go na trybunie niemal spółzawodnikiem barona Ricasoli; chociaż dziś hr. Bastoggi widocznie cierpiał na zdrowiu i nie mógł nawet być obecnym zwycięztwu, jakie prawo jego odniosło, otrzymało bowiem 138 głosów przeciw 78-miu.

Zdaje się, że większość poselska izby ponowiła swoje schadzki. Członkowie różniący się w zdaniu, a którzy okazali niejaką chęć należenia do tych schadzek, nie przestali w swoich dziennikach powstawać przeciw ministrowi większości, zagajone więc pojednanie przez panów Lanza i Minghetti, spełznie na niczém. Większość ściśnie swe szeregi, a siedmiu czy ośmiu posłów, co się od niéj oddzielili, przejdą na stronę lewą.

Dziś wieczorem ma miejsce bal pana Ricasoli; spodziewają się, że będzie wspaniały; zaproszono 3,000 osób; zaszczycą go swoją obecnością: księżna Genui i książe de Carignan.

Neapol 18 stycznia. W salach pałacu Foresteria, wybor towarzystwa neapolitańskiego znajdował się na balu, danym przez jenerała La Marmora. Konsulowie wszystkich narodów prócz austryjackiego i hiszpańskiego przyjęli zaproszenie dostojnego gospodarza.

W przeszły wtorek to jest 14 stycznia umarł w Neapolu książe Ghika, były hospodar wołoski.

Książe Szwedzki, Oskar, pożegnał Turyn prędzéj niż się spodziewano, dowiedziawszy się o lekkiéj słabości małżonki swojéj Zofji (Nassauskiéj urodzonéj 9 lipca 1836-go) w Nizza. Przybywszy zrana do Genui, wsiadł na parostatek *duce di Genova*.

Turyn 22 stycznia. Dzisiejsze posiedzenia izby zabrały interpelacje; wszyscy ministrowie byli na swych miejscach; najważniejszy zarzut uczyniony był przez pana Sanna-Sanna, o położeniu politycznėm i gospodarskiém Sardynji. Mówca żalił się, że ta wyspa godna być przypuszczoną do ruchu postępu narodowego i społecznego, który tak dzielnie zasiliła przez poświęcenie swoje dla sprawy włoskiéj, zaniedbaną została przez rząd, który w tym względzie naśladuje dawniejszych ministrów. P. Sanna-Sanna czytał swą mowę, nie było więc miejsca dla namiętności, wszystko przeniosło się na pole obliczeń. Jakoż ze statystyką w ręku, baron Ricasoli, który zabrał głos po ministrze rolnictwa i handlu, dowiódł że liczba występków i zbrodni w roku przeszłym zmniejszyła się w Sardynji, co jest niezaprzeczonym dowodem społecznego polepszenia. Nadto zapewnił, że gabinet szczerze pracuje nad stanem téj części Włoch, tak godnéj wszelkiéj opieki, równie przez geograficzne swoje położenie, jak przez swą miłość dla narodowéj sprawy.

Wystąpił potém p. Safi, podobnież z mową czytaną, bardzo skąd inąd piękną; dawniejszy trybun jest dziś jednym z posłów obwodu wyborczego Sardyńskiego.

Szkoda, że interpellacje są tak częste, zabiera to dużo czasu, który należało by poświęcić rzeczom istotnym.

W Neapolu stronnictwa dążą do pojednania; większa część arystokracji połączyła się z rządem. Na ostatnim balu jenerała de La Marmora zauważano obecność książęcia d'Ottajano. Pani de La-Marmora nagle wśród balu zasłabła, natychmiast więc księżna Pignatelli-Strongoli zastąpiła jéj miejsce.

Wczorajszy bal prezesa rady udał się doskonale. Wysokie towarzystwo turyńskie dało sobie słowo znajdować się na nim w zupełnéj liczbie. Zważywszy zwyczaje bardzo oględne, a nawet wyłączne arystokracji turyńskiéj, może ze wszystkich najarystokratyczniejszéj, jednomyślna jéj obecność na balu prezesa słusznie jest uważana za objaw na rzecz ministrów. Baron Ricasoli jest wdowcem, pani Peruzzi przyjęła na siebie obowiązek gospodyni balu i spełniła go z największym wdziękiem i trafnością; pani Peruzzi jest bardzo kochaną w turyńskiém towarzystwie.

Dołączamy kilka szczegółów o téj świetnéj pod wszelkiemi względami zabawie.

Księżna Genui otworzyła bal z hrabią Della Rocca. Jéj królewska wysokość tańczyła potém z jenerałem Menabrea, ministrem marynarki, i z hrabią Galli della Loggia. Uważano że p: Daro, sprawujący interesa Hiszpanji, tańczył z margrabiną Doria, któréj salon uważa się za pierwszy w Turynie i o wstęp do którego wszysci się dobijają. Uważano jeszcze między obecnymi margrabinę de San-Germano, bardzo wielką panię, panią de Rignon, panią de Fava, panią de Hochschild, małżonkę ministra szwedzkiego, panią Benedetti, trochę cierpiącą; księżnę de la Force, hrabinę de Sartirana, hrabinę Lazzari, dwie prześliczne hrabianki Polione, których strój błękitny przypadał do ich cudownej piękności; ale królową balu była niezaprzeczenie hrabina Panissera, piękna, pełna wdzięku i cudownie tańcząca, została aż do końca balu. Piękna hrabina Gattinara zbyt prędko opuściła zabawę, z miejsca swojego obowiązana towarzyszyć księżnéj Genui. Żałowano, że hrabina Alfieri małżonka posła, bardzo kochana i szanowana, nie mogła znajdować się na wieczorze barona Ricasoli. Margrabia Alfieri, który był prezesem senatu, jest jednym z mężów najsprawiedliwiéj poważanych w Turynie; wielu młodych posłów neapolitańskich wyższego towarzystwa, używających świetnego powodzenia w Turynie, takich naprzykład: jak margrabia Atenolfi, książe de Terranova, baron Baracco i margrabia Bella Caracciolo, przyczynili się do ożywienia zabawy.

Turyn 23 stycznia. Posiedzenie izby zakończyło się nowym głosem zaufania dla ministrów, którzy chętnieby się bez niego obeszli, zabrało to bowiem znowu część drogiego czasu. Z powodu zarzutów pana Sanna-Sanna, po długich rozprawach izba znaczną większością przeszła do porządku dziennego, oświadczając, że pokłada zupełną ufność w tém, co ministrowie przedsięwezmą, dla ulepszenia stanu Sardynji. Widocznie parlament skłonny jest do nadużywania swéj prerogatywy, wybornéj w zasadzie, ale

w któréj nie należy przebierać miary, tak jak we wszystkich dobrych rzeczach. Zwracam uwagę na artykuł ogłoszony, z powodu ostatniego objawu rzymskiego przez gazetę turyńską d. 21 stycznia. Jest to wymówny jasny i pełen powagi komentarz mowy pana Ricasoli, wyrzeczonéj w senacie. Z tego pisma widać, że zadanie rzymskie nie tylko nie uwięzło na miejscu, ale coraz posuwa się naprzód drogami skreślonemi przez hrabiego Cavour, a torowanemi z takiém przekonaniem i siłą przez barona Ricasoli. Okrzyki ludności rzymskiéj, na cześć *papieża nie króla*, odpowiedziały jak echo na słowa prezesa rady, który wynurzył głośno swą ufność w żywotność zasady: *kościoł wolny w państwie wolnem*.

Wspomniany wyżéj artykuł gazety turyńskiéj nosi nazwę: *Sluby Rzymian*. Doniosłość jego jest wielka. Zapowiada on nową, a może ostateczną przejawę zadania rzymskiego; dowodzi rzeczywistego postępu, jaki to zadanie czysto duchowe, mimo swą pozorną nieruchomość widocznie czyni. Słowa gazety są następne:

„Kiedy prezes rady wymawiał w senacie słowa tak rozmaicie późniéj rozbierane: *Może w chwili, w któréj mówię, dola nasza czyni ogromny krok ku dojrzałości*; silne wrażenie, sprawione na słuchaczach, przeniosło się z niemniejszą siłą do serc powszechności i do dziennikarstwa. Jak zawsze w podobnych zdarzeniach dziać się zwykło, słowa barona Ricasoli były rozmaicie tłómaczone, stosownie do rozmaitych względów pod jakiemi je oceniano. Jedni widzieli w nich przedwczesną obietnicę, inni zapowiednię, że istnieją pewne acz pośrednie wpływy, inni nakoniec chcieli znaleźć w późniejszéj odpowiedzi, danéj margrabiemu de Villamarina, sprzeczność albo przynajmniéj ograniczenie za nadto rozległego oświadczenia; wszyscy niemal zgadzali się na to, że te słowa miały doniosłość, któréj powaga męża, co je wymawiał, miejsce w którém były wyrzeczone i obecność dostojnego świadka (królewicza Oskara), lekce ważyć nie dozwalały, ani zniżyć ich do stopnia dyplomatycznéj zręczności, lub mówczego zwrotu.

Wiadomość, którąśmy wczoraj przez telegraf otrzymali, służy nam za najprostsze i najwyraźniejsze objaśnienie słów, wymówionych przez barona Ricaseli: że opierając się na uczuciach narodu, rząd bynajmniéj się nie omylił.

Bo w istocie, cóż powiedział prezes rady na posiedzeniu senatu? Powiedział, że mocno wierzy i przyjdzie dzień, w którym Rzym zostanie stolicą Włoch i uwieńczy naszę narodowość; powiedział, że w Rzymie nie widzi upadku zasady, ale rozwiązanie, mające zmienić: *nie tylko dolę Włoch, ale dolę ludności*; że to zwycięztwo: *powinno być odniesione przez umiarkowanie właśnie z powodu czystości i wielkości sprawy, która nas do Rzymu powołuje.*

Owoż, objaw uczyniony d. 18 przez Rzymian, jest potwierdzeniem, że uczucia barona Ricasoli są uczuciami całego narodu. Stronnictwo klerykalne osnuło jeden ze zwykłych objawów; Rzymianie chcieli skorzystać z téj zręczności, nie dla urządzenia objawu w duchu przeciwnym, mogącego mieć znamie anti-religijne, ale wystąpić z objawem narodowym i religijnym, podczas którego życząc wszelkiego szczęścia *papieżowi nie królowi*, witając razem *Wiktora-Emmanuela króla włoskiego*, nadaliby uroczystą sankcję zasadzie: *kościoł wolny w państwie wolném.*

To godło wypisane na *dziesięciu tysiącach* trójkolorowych chorągwi, było pełną znaczenia uchwałą ludową, ogłaszającą zjednoczenie półwyspu.

A więc słowa barona Ricasoli nie były natchnione przez duch ślepéj zuchwałości; natchnęły je *sumienie i rozum*, które oświadczył, że są jedynym orężem zdolnym doprowadzić Włochów do zdobycia stolicy. Prezes rady powiedział panu Brofferio w izbie poselskiéj, że jeśliby naród nie zgadzał się w téj mierze z rządem, nie mógłby go nadal przedstawiać.

Na przyzwoleniu więc narodowém opiera się wiara rządu w ten cudowny rozwój zdarzeń, które dążąc do jednego celu objawiają się przez jedne środki. Nie inaczéj spełniły się przyłączenia krajów, które po Villa Franca, mimo wahanie się niektórych i nieufność wielu, utrwaliły zasadę jedności i niepodległości. Nie inaczéj Toskanja, Emilja, Marchje, Umbrja i kraje południowe, poczęły swe spokojne, ale niecofnione rewolucje. Ta jednomyślna stateczność woli i środków, jest najpewniejszą rękojmią porządku i prawdziwéj wolności, którą możemy przedstawić Europie.

„*Rząd zbliżać się będzie do Rzymu drogą rozumu, drogą namowy, zgodnie z cesarzem Francuzów*,“ rzekł także baron Ricasoli; i to objawienie zewnętrznéj polityki gabinetu, niezdaje nam się pozwalać na żadną wątpliwość w swoim wykładzie. Nikt nie czeka, aby Francja oddała nam Rzym; podobny dar nie miałby wartości, gdyby duch ludu nie był za nami. Chcemy, aby Rzym połączył się z nami i aby Francja sankcjonowała to dobrowolne zlanie się, jak uświęciła inne, przez uznanie królestwa włoskiego. Polityka tak jasna, tak uczciwa, a przytém tak wolna od ducha służebnictwa lub oporu, zdajesię nam zasługiwać na potwierdzenie i spółczucie nietylko całego narodu ale i wszystkich ludów obcych.

Jeżeli najzawziętsi nieprzyjaciele rządu nie śmieją cienia nawet rzucić na prawość i uczciwość barona Ricasoli, dla czegoż chcieć zawsze w najprostszych wyrazach szukać symbolu ukrywającego tajemnice dyplomacji? Dla czego raczéj nie mielibyśmy chlubić się z tego, że w jednéj gałęzi publicznego prawa, w któréj przebiegłość była zawsze jednym z niezbędnych warunków, Włochy, odradzające swą narodowość, nauczają dziś Europę téj metody otwartego postępowania.

Niechcemy wyciągać zbyt śmiałych wniosków „ale nie odgadując tajemnic opatrzności, ufamy, że spełnią się przeznaczenia Włoch. A więc, dalecy od znajdywania w późniejszych objaśnieniach prezesa rady sprzeczności, lub ograniczeń dawniejszych objaśnień; widzimy w nich raczéj następstwa téj polityki mającéj pozór oczekiwania, która dopomaga zdarzeniom bez przymusu. Nikt nie chce narzucać ale przekonać:“ „Że nasza dola dojrzewała wczoraj, tak i dziś dojrzewa; jak dojrzewała wczoraj i zawczoraj, tak dojrzewać będzie jutro.“

„Ale jak ta dola dojrzewać będzie jutro, tego niewiemy i wiedzieć nie chcemy. Lud włoski dał Europie dość liczne zakłady swojéj woli i rozsądku w tych trzech ostatnich latach. Niech Włochy i nadal dają dowody woli i rozsądku, a narody nieodmówią im swéj wyrozumiałości.

P. de Villamarina powiedział: któż w roku 1856 mógł przewidzieć wypadki spełnione od 1859? Kto zdoła wypowiedzieć te, jakie się spełnią może niebawem? Każden dzień miniony czyni je dojrzalszemi i jeżeli Włosi sami siebie nie zawiodą, żaden zbieg okoliczności ich nie zawiedzie.

Francja.

Paryż, 24 stycznia. Dzienniki francuzkie zajmują się rozbiorem sprawozdania pana Foulda. Było by przedwcześnie powtarzać ich sądy; jeden z nich dotąd podniosł najważniejsze pytanie, to jest zamianę renty pół piąta na trzy procentową.

O przyjęciu nowego nuncjusza przez cesarza tyle tylko powtarzają, że Napoleon III z niejakim naciskiem mówił o życzliwości i uszanowaniu, jakie nieprzestawał wyznawać dla ojca św.; nuncjusz zaś nie dotknął drażliwéj struny pobytu wojsk francuzkich w Rzymie.

Monitor powszechny pisze:

Cesarz otworzy osobiście, w poniedziałek d. 27 stycznia o godzinie 1-éj w wielkiéj sali Luwru, posiedzenie prawodawcze 1862 roku i przyjmie przysięgę tych członków senatu oraz ciała prawodawczego, którzy dotąd jeszcze jéj nie wykonali. Gwardja narodowa i gwardja cesarska, wyciągnięte będą we dwa szeregi na całéj przestrzeni przejazdu orszaków nn. państwa z pałacu Tuileries do pawilonu Denon.

Członkowie i panie korpusu dyplomatycznego, kardynałowie, ministrowie, członkowie rady tajnéj, marszałkowie, admirałowie, deputacja wielkiego krzyża legji honorowéj i ich małżonki; urzędnicy nie będący wówczas na służbie domów nn. państwa, książąt i księżniczek rodziny cesarskiéj, przybędą przez ulicę Rivoli i wejdą przez wschody Henryka II.

Prezesowie i członkowie senatu, ciała prawodawczego i rady stanu, oraz członkowie rozmaitych deputacij i osoby wezwane, wejdą przez bramę pawilonu Denon na placu Napoleona III-go. Wszystkie osoby mające znajdować się na téj uroczystości powinny już być w sali *najpóźniéj* o kwadrans na pierwszą.

Wystrzały z dział oznajmią początek i koniec posiedzenia.

Czytamy podobnież w *Monitorze*, że rada stanu roztrząsa na rozkaz cesarza, projekt do prawa, mającego na celu naznaczenie jenerałowi dywizji Cousin-Montauban hrabiemu Palikao, corocznego uposażenia 50,000 franków, w sposobie nagrody narodowéj.

Paryż, 25. Korespondent dziennika *le Nord* podaje, z największą pewnością, wiadomość najwyższéj wagi, a mianowicie, że przyjęto zamiar utworzenia królestwa meksykańskiego, dla arcy-książęcia Maksymiljana. (Ferdynand-Maksymiljan-Józef, brat cesarza austryjackiego urodzony 6 lipca 1832 r.; poślubił 27 lipca 1857-go Marję Charlotę, urodzoną 20 czerwca 1840, córkę Leopolda belgijskiego i Ludwiki Orleańskiéj).

Arcy książe Maksymiljan, ofiarowany sobie tron przyjął; rządy francuzki, angielski i hiszpański położyły za nieodzowny warunek, że wojska ich dopóty Meksyk zajmować będą, dopóki nowy król nie ustali swojéj władzy. Z drugiéj strony, należało porozumieć się tym państwom o zwrót nakładów; było by bowiem rzeczą niesłuszną, aby na ich budżetach przez wiele lat może, ciężyły wydatki z powodu sprawy, która ich wprost nie obchodzi. Wszystkie przedwstępne trudności mają już być ułatwione i jenerał hrabia Latrille de Lorencez wypłynie ze swym sztabem głównym d. 28 stycznia do Meksyku. Jenerał meksykański Almonte, mąż bardzo znakomity i posiadający wielką wziętość w swéj ojczyznie, zaszczycony ufnością Napoleona III. towarzyszyć ma wyprawie i wspierać swemi radami jenerała de Lorencez. Nowy ten wódz, znany jest z pięknych przewag wojennych. Zabiera z sobą pułkownika głównego sztabu Leteillier-Valazé, komendanta Lacroix i trzech kapitanów jeneralnego sztabu; adjutantem jego jest kapitan jeneralnego sztabu Hubert Castex. Oficerami ordynansowymi: hr. de la Tour du Pin Chambly de la Charse, Michał Ney, książe d'Elchingen. Wojska udające się do Meksyku odpływają z wielką ochotą; żołnierze francuzcy wdrożeni do zamorskich wypraw wojennych, poczytują za zabawkę zdobycie Meksyku po wzięciu Pekinu.

Połączone floty: francuzka, angielska i hiszpańska stanęła 5-go stycznia pod Vera-Cruz.

Zapewniają, że pod koniec grudnia deputacje 15-tu prowincij na liczbie 21-éj, z któréj składa się konfederacja meksykańska, udały się do Vera-Cruz, dla złożenia przedstawicielom trzech mocarstw próśb, o zaprowadzenie w Meksyku rządu monarchicznego wyzwolonego.

Paryż 26 stycznia. Wice-hrabia de Païva, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny, naj. króla Portugalji i Algarbów, miał zaszczyt być przyjętym dzisiaj przez cesarza na osobném posłuchaniu i doręczyć jego cesarskiéj mości dyplomat i ozdoby, królewskiego orderu Wieży i Miecza, które król portugalski przesłał dla jego cesarskiéj wysokości następcy tronu, oraz list własnoręczny, pisany z tego powodu do cesarza.

Wice-hrabia de Païva złożył podobnież cesarzowi list, w którym król portugalski oznajmuje o zgonie infanta don Joaô książęcia Beja.

Z powodu tego zgonu, nie czekając urzędowego obwieszczenia, cesarz przywdział żałobę d. 9 stycznia na 4 dni.

Dnia 27 stycznia. Otwarcie posiedzenia prawodawczego na rok 1862.

Dziś o godzinie 1-éj cesarz otworzył posiedzenie prawodawcze, w wielkiéj sali Luwru.

Na pół godziny przed przybyciem naj. pana, wielkie ciała państwa, deputacje i osoby wezwane zajęły przeznaczone dla siebie miejsca. Na stopniach tronu, uszykowali się kardynałowie, ministrowie i członkowie rady tajnéj, marszałkowie i admirałowie, deputacja kawalerów wielkiego krzyża legji honorowéj, wice prezes i prezesowie wydziałów rady stanu, tudzież jéj radcy.

Naprzeciw tronu, po prawém ręku przygotowane były miejsca, dla prezesa, dla wice prezesów senatu i dla senatorów; po lewem, dla prezesa, wice-prezesów ciała prawodawczego i dla deputowanych.

Za senatem i ciałem prawodawczém, zasiadły deputacje wielkich urzędników legji honorowéj, sądu kassacyjnego, izby obrachunkowéj, rady cesarskiéj wychowania publicznego, cesarskiego instytutu Francji, sądu cesarskiego, duchowieństwa rozmaitych wyznań, prefekt Sekwany, prefekt policji i jeneralni sekretarze obu prefektur, deputacja rady prefektur, rady municypalnéj, komissji departamentowéj, merowie i ich adjunkci miasta Paryża, ciała akademickiego, trybunału cywilnego 1-go stopnia, trybunału i izby handlowéj, administracij centralnych i sztabów gwardji narodowéj, oraz wojska lądowego i morskiego.

Część galerji wyższéj na prawo, wyznaczono dla ciała dyplomatycznego; jéj część na lewo zajęta była przez małżonki ministrów, członków rady tajnéj, marszałków, admirałów, wielkich urzędników korony i inne panie dworu.

Mało co przed wybiciem 1-éj godziny, naj. cesarzowa i jego wysokość następca tronu, wyjechali z pałacu Tuileries, w karecie zaprzężonéj dwóma końmi, przez bramę łuku tryumfalnego, wśród podwójnego szeregu wyciągnionego przez gwardję narodową i gwardję cesarską.

Orszak naj. pani poprzedzały i zamykały plutony pancerne gwardji.

Cesarzowę i następcę tronu, przyjęły, po ich przybyciu, księżne rodziny cesarskiéj i rodziny cesarza, mające stopień u dworu. Naj. pani, poprzedzona przez urzędników służbowych, a mająca za sobą księżne, wielką ochmistrzynię, panie honorowe i panie pałacowe, udała się do trybuny urządzonéj dla siebie, w wielkiéj sali Luwru po prawém ręku tronu. Blisko cesarzowéj i następcy tronu zabrały miejsce: ich ces. wysokości, księżna Marja-Klotylda-Napoleon, księżna Matylda, ich wysokości księżna Lucjanowa Murat, księżna Joachimowa Murat, księżna Krystyna-Napoleon Bonaparte, oraz księżna Anna Murat.

Powtarzane okrzyki: niech żyje cesarzowa! niech żyje następca tronu! powitały przybycie naj. pani i jéj syna. W téjże chwili wystrzały 21-go dział oznajmiły wyjazd cesarza z pałacu Tuileries. Naj. pan udał się pod pawilon Denon, w karecie zaprzężonéj dwoma końmi, orszak jego poprzedzony był plutonem pancernych gwardji cesarskiéj i zamykał się plutonem szwadronu stu gwardzistów. Przejechał plac Karuzelowy, między dwóma rzędami gwardji narodowéj i gwardji cesarskiéj.

Cesarz przyjęty został po swém przybyciu przez ich wysokości książąt rodziny cesarza, mających stopień u dworu, i orszak wszedł do wielkiéj sali, witany okrzykami całego zgromadzenia.

Naj. pan zasiadł na tronie, mając obok siebie:

Ich wysokości książęcia Ludwika-Lucjana-Bonaparte, książęcia Lucjana Murata i książęcia Napoleona-Karola Bonaparte.

Jego cesarska wysokość książe Napoleon dla niezdrowia, nie mógł być obecnym na posiedzeniu.

Cesarz wyrzekł następną mowę: (umieściliśmy ją we wtorkowym numerze *Kurjera*).

Ta mowa często przerywana oznakami zadowolenia obecnych, zakończyła się wpośród powtarzanych okrzyków: *niech żyje cesarz!*

Minister stanu, hr. Walewski wziąwszy rozkazy naj. pana, wezwał panów senatorów i panów deputowanych, którzy dotąd nie wykonali przysięgi przepisanéj przez konstytucję, do złożenia jéj w ręce cesarza.

Przysięgli: panowie deputowani Cosserat, Marey-Mange, Pamard, baron de Planacy:

Po czem minister stanu rzekł:

„W imię cesarza ogłaszam posiedzenie za otwarte i wzywam panów członków senatu i ciała prawodawczego, do zebrania się jutro, we właściwych miejscach posiedzeń, dla rozpoczęcia swych prac.“

Wnet cesarz a późniéj cesarzowa oddalili się ze swemi orszakami, pozdrowieni przeciągłemi okrzykami całego zgromadzenia. O pół do drugiéj nowe wystrzały z 21-go dział, oznajmiły koniec cesarskiego posiedzenia.

Monitor powszechny w biuletynie swoim z d. 28 stycznia pisze co następuje:

Cesarz otworzył wczoraj posiedzenie prawodawcze.

Mowa cesarska przyjęta z uczuciami jednomyślnego zadowolenia przez znakomitych słuchaczów, obecnych na téj uroczystości, wywoła niemniéj żywe współczucie w całym kraju.

Wykład położenia cesarstwa, mający być jutro rozdany izbom, obejmuje zbiór dokumentów dyplomatycznych o sprawach włoskich, rzymskich, syryjskich, księstw naddunajskich i meksykańskich.

Monitor, w numerze swoim 29 stycznia, zamieścił czynności pierwszego posiedzenia senatu, 28 stycznia, obejmującego: dekret zwołania, dekreta mianujące prezesa i wice prezesów senatu na rok 1862; listy senatorów usprawiedliwiających się, że nie mogą być obecnymi; list książęcia Ludwika-Lucjana Bonaparte, przy złożeniu senatowi dalszego ciągu dzieł swoich drukiem ogłoszonych; złożenie do archiwum dalszego ciągu inwentarza ruchomego uposażenia korony; przesłanie raportu o tém, co rząd uczynił z prośbami przesłanemi sobie podczas przeszłorocznych posiedzeń senatu; złożenie przez ministrów bez wydziałów, obrazu powszechnego stanu cesarstwa i zbioru dokumentów dyplomatycznych; losowanie senatorów do rozmaitych biur; wybór sekretarzów i ich zastępców; złożenie wniosku; ustanowienie porządku dziennego; zebranie się po biurach.

Prezes senatu, p. Troplong, wezwał, aby zebrać się w biurach w przyszły piątek, to jest d. 31 stycznia, dla mianowania kommisji adresowéj.

Co do pierwszego posiedzenia ciała prawodawczego, pod prezydencją hrabiego Morny, *Monitor* umieścił następną jego mowę:

„Mości panowie,

W jakąkolwiek stronę wzrok obrócę, przedstawia się naszym oczom widok pełen zajęcia. Rzec można, że świat nie przedstawia ani jednego rządu ani jednego ludu, któregoby wielkie przesilenie nie nękało. Rozprzęgają się dawne społeczności, nowe ulegają zmianom; na wszystkich stanowiskach kuli ziemskiéj, niema ani jednéj bezwarunkowéj, coby sama sobie nie zaprzeczyła, ani jednego systematu, coby nie był z sobą w sprzeczności.

„Tam, zbytek władzy czyni ustępstwa swobodzie; gdzieindziéj zbytek swobody, szuka uchrony w ręku silnéj władzy. W pośród téj pracy przeobrażeń, mimo najtrudniejsze okoliczności handlowe i rolnicze, Francja została spokojną, ufną, i szczęśliwą. Czyż niemamy prawa ztąd wnioskować że w teorji jak w życiu, posiadamy rząd, który najlepiéj odpowiada duchowi naszego narodu? (potwierdzenie). Nasza konstytucja uwzględniła wszystko, w miarę zdolności i potrzeb; zachowała władzy jéj początkowanie i siłę, a dziś zapewnia ciałom politycznym kontrolę i część wpływu, co je szczerze zespala z kierunkiem spraw krajowych. Ziściła więc swój programmat, bo dała krajowi zaufanie, porządek, pracę, nie wstrzymując bynajmniéj jego postępu na drodze wolności.

Wyznać należy, że w otrzymaniu tych wypadków udział ciała prawodawczego jest znakomity, i niechcąc wdawać się w niesłuszną naganę przeszłości, czyż nie wolno jest roztrząsnąć: czy dawne konstytucje wydały takie same owoce? Zgromadzenia dawniejsze, uposażone prawem początkowania, wywoływały tylko zatargi między władzami publicznemi. Niezdolne umiarkować swych opozycyjnych wysileń, dla otrzymania błahych reform, obalały rządy, które tylko ostrzedz chciały. (Przyzwolenie na wielu ławach).

Co do was, mości panowie, lubo niesłuży wam prawo początkowania, osiągnęliście wszystkie reformy, jakieście tylko wskazali. Wasze umiarkowanie dozwoliło bez trwogi i niebespieczeństwa, rozszerzyć wasze prerogatywy. Dalecy od zmniejszenia uroku i powagi władzy, nastręczyliście przeciwnie cesarzowi sposobność, dania światu przykładu zaprzania, które nierównie pewniéj dostąpiło prawdziwéj wielkości, niż wszelkie rachuby dumy ludzkiéj (Wybornie! wybornie!)

I w tym roku jeszcze bardzo ważna reforma poruczyła nam skuteczną kontrolę skarbowości państwa. Ambicja, tak wrodzona każdéj administracji, widzenia ulepszeń i rozwoju swéj służby, znajdowała zbyt łatwe zadowolenie w braku jedności, w otwieraniu kredytów dodatkowych, podczas przerw parlamentu. Cesarz położył koniec tym uniesieniom; chciał naprzód, aby minister skarbu skupił w jedno, całą kontrolę wydatków; i przez wiadomą wam uchwałę senatu, zakazał otwierania kredytów, podczas waszéj nieobecności. Ten krok mądrego przewidzenia sprowadzi oszczędność i zapewni kredyt publiczny. Wszakże mości panowie, nie pozwalajmy zbłąkać się mniemaniu powszechnemu; dobrze jest, aby kraj znał dokładną doniosłość rzeczy. Nie potrzeba, aby podciągnienie pod prawidła przyszłości, miało stać się niesłusznem potępieniem tego co minęło, (prawda, prawda); niepotrzeba, aby oskarżano nasz skarb o nieprawidłowy dotychczas zarząd; najściślejszy porządek zawsze w nim panował, wasze kommisje budżetowe, nawet wówczas kiedy silnie domagały się o to co dziś udzielono, oddawały mu tę sprawiedliwość. (Nowe potwierdzenie). Co do długu ruchomego, nigdy on, jak to cesarz wczoraj powiedział, nieprzewyższał takiegoż długu pod uprzedniemi panowaniami, wyniknął zaś z pełnego sławy lub pożytku, użycia krajowych zasobów.

Rząd liczy na waszą gotowość, w zagłosowaniu do prawa zmiany rent, nawet przed rozprawami nad adresem. Każdemu z was wiadomo, że środki z któremi jest w związku spekulacja i które dotykają wielkich skarbowych widoków, potrzebują być niezwłócznie postanowione, aby ich niepewność nie dotykała.

Kończąc niniejszą przemowę, chcę zwrócić uwagę izby na przedmiot podniesiony w ciągu przeszłego parlamentu i nad którym zastanowiłem się dojrzale, bo ciągle mnie ożywia żądza wprowadzenia do prawideł i zwyczajów izby wznowień mogących nadać jéj rozprawom, więcéj świetności i pożytku: chcę mówić o mowach pisanych.

Mowa pisana jakakolwiek będzie jéj zasługa, rzadko ugodzi w samą treść rozprawy. Jeżeli jest długą i rozwiekłą, oziębia rozprawę i bywa najczęściéj czytaną przed pustemi ławami. Wtedy, czas i godność zgromadzenia są poświęcone roszczeniom pojedyńczego mówcy. Jeżeli głos jest gorzki lub gwałtowny, wywołuje głębokie rozdrażnienie, bo nic nie sprawia przykrzejszego wrażenia, jak gorycz obmyślana, jak gwałtowność, któréj usprawiedliwić niepodobna, uniesienie improwizacji (bardzo-dobrze). Wypracowanie pisane, które zdawałoby się być koniecznym towarzyszem rozwagi i spokoju, nigdy nie sprawiało w izbach złagodzenia umysłów, i zdumiewać musi to postrzeżenie, że w najokropniejszych czasach naszych parlamentowych dziejów, prawie wszystkie mowy były pisane (Prawda).

Parlament angielski, którego doświadczenie i duch praktyczny nie ulegają sporowi, stanowczo zabrania mów czytanych, zaledwie pozwala na odczytanie jakiego dokumentu. Dla tego też kształty mówcze powoli ustąpiły tam miejsca rozprawom prostym niemal poufnym, a krótkie przemówienia ludzi rozumnych, są tam zawsze najchętniéj słuchane; życzyłbym, aby ciało prawodawcze chciało, dla własnego dobra, przyjąć ten sam porządek. Co do mnie w następny sposób pojmuję moje obowiązki i moje prawa prezydującego: Uważam siebie za tłómacza woli izby; powinienem czuwać, aby słuchano z uszanowaniem to wszystko, co izbie podoba się słuchać; ale nie pozwolę na czytanie mów przed izbą nieuważną, lub pustą. Nasze rozprawy mają służyć dla oświecenia nas, ale nie nato, aby tylko figurowały w *Monitorze*. (Wybornie, wybornie). Zaprowadzono sprawozdawców i stenografję nie na to, aby przepisywały rękopisma.

Spodziewam się, że izba oceni kierujące mną pobudki. Od dnia, w którym zostałem powołany do zaszczytu jéj przewodniczenia, statecznym celem mych usiłowań był wzrost jéj wpływu i znaczenia, było zyskanie jéj ufności, bo prawidłem mego postępowania jest najsumienniejsza sprawiedliwość i najściślejsza bezstronność“ (grzmiące oklaski).

Anglja.

Londyn 27 stycznia. Oznajmują, że królowa przewodniczyć będzie 5-go lutego na radzie tajnéj, na któréj, podług zwyczaju, mowa naj. pani, mająca być odczytaną na otwarciu parlamentu, otrzyma sankcję królewską. Po odwiedzinach króla Belgijskiego w Broodland, lord Palmerston, jak mówią, ma udać się do Osborne, do królowéj. Domyślają się, że z powodu obecnych bolesnych okoliczności, królowa nie otworzy parlamentu osobiście, bo żyje w tak głębokiem odosobnieniu, że jeszcze nie połączyła się ze swą rodziną, nawet podczas nabożeństwa niedzielnego.

Przewodnicy opozycji, idąc za przykładem ministrów, wydali zaprosiny na wielkie uczty, gdzie ich zwolennicy *mają wskazać mówcow dla popierania ich zdań w izbach*, z powodu otwarcia parlamentu. Dnia 4 lutego izba handlowa Birminghamska ma zaprosić pana Bright na obiad, gdzie znakomity mówca przedstawi swój pogląd na stan polityki. Niektóre dzienniki torrysowskie nalegają na swoje stronnictwo, aby natychmiast po otwarciu parlamentu wytężyło całą usilność na obalenie gabinetu; ale jest rzeczą wielce wątpliwą, aby lord Derby tę taktykę przyjął i zapewne znaczna liczba mężów umiarkowanych w szeregach przeciwników, nie dozwoli im połączyć się z ludźmi zamierzającymi wyzuć z władzy lorda Palmerstona.

Dia 27-go stycznia. W liście pisanym z Londynu czytamy następny szczegół o królewnie Alisie:

Samo z siebie rozumie się, że po okrutnéj stracie poniesionéj przez królowę i jéj rodzinę, musiano odłożyć zamążpójście królewny Alisy za książęcia Ludwika Hesskiego. Wiemy z pewnością, że królowa znajduje największą pociechę w miłości i zupełném zaprzaniu królewny Alisy, zasługi któréj niepodobna dosyć ocenić i uwielbić. Spodziewamy się, że za nadejściem szczęśliwéj chwili jéj ślubu, wszyscy ujrzą jak stała się drogą ludowi angielskiemu, przez swoje godne podziwienia i pobożne postępowanie. Sądzimy, że gody odbędą się pod koniec czerwca lub na początku lipca.

Austrja.

Peszt, 24 stycznia. Nie możemy wybrnąć z cudackich projektów zgody i pokoju. Każdy dzień przynosi, albo nową wieść, albo nowy plan polubownych układów z Austrją; ale te plany i te wieści wypielęgnowane na drugim brzegu Lejty, obudzają tylko śmiech na naszym. Każdy dziennik wiedeński występuje ze swoim projektem; tylko wybierać w ich mnóstwie, a wnet możnaby porozumieć się najszczerzéj z cesarzem i gabinetem centralistowskim. Zresztą, nikogo nie uwodzą te wieści pojednawcze. Nikt nie czyni tajemnicy z wojowniczych zamiarów cesarza, ani z jego zawziętości na Włochy i Francję, a ponieważ nikt nie wierzy, aby chciano rozpocząć nową krucjatę za Minciem i Padem, bez zabezpieczenia się na skrzydłach, puszczają te wojownicze pogłoski, w towarzystwie pogłosek o zawarciu pokoju między Austrją i Węgrami.

Zapytani rozsiewacze nowin, na czém opierają nadzieję pokoju z Węgrami i jakie będą jego warunki, odpowiedzieć muszą, że nie więcéj o nich wiedzą jak każdy inny prosty śmiertelnik. Ciągle wracają do konferencji na zamku Kalksburgskim i do konferencji tych dawnych zachowawców, którzy korzystając z pobytu cesarza w Wenecji, udawali się tam dla otrzymania przełożeń, mogących być przyjętemi. Według jednych p. Schmerling zostanie oddalony, a jego miejsce obejmie p. Hübner; bo ani członkowie konferencji Kalksburgskiéj, ani rodziny arystokracji węgierskiéj, które znajdowały się w Wenecji w orszaku cesarza, nie są wcale skłonne do rokowania z teraźniejszym gabinetem. Według twierdzeń centralistów, cesarz miał powiedzieć do feldcejgmistrza Benedeka i do dawnego stronnictwa zachowawczego, że gotów byłby do układów z Węgrami, jeśliby mu przedstawiono przełożenia natchnione duchem wierności i patryotycznego przywiązania do najwyższéj władzy. Uwaga, jaką cesarz miał uczynić, „że widzi zbliżających się do tronu tylko członków dawnego stronnictwa zachowawczego, które wprawdzie chce szczerze pokoju, ale nie posiada wziętości w kraju,“ jest

bardzo słuszna, bo można powiedzieć bez przesady: że łatwiéj porozumieć się z Chinami i Japonją niż z Węgrami.

Rząd ma zapewne chmurę agentów w Węgrzech, ale każden ucieka od tych ajentów, nikt niechce nawet roztrząsać rzekomych zasad ugody powtarzanych przez dzienniki, a z których wynika tylko ten skutek, że rozdzielająca nas otchłań staje się coraz szerszą. Najsilniejszym dowodem z jakim stronnicy austryjaccy występują, jest zawsze postrach rosyjssko-słowiańskiego widma. Jeżeli nie pogodzicie się z Austrją, powtarzają za każdém zdarzeniem, staniecie się pastwą panslawizmu. Zapominają, że Węgry, przez 10 wieków, żyły w pokoju z ludnościami pochodzenia słowiańskiego, i że właśnie austryjackie knowania skłóciły je w 1848-m roku ze Słowianami. Dla czegoż miałoby być lepiéj, przyczynić się przez spółdziałanie Węgier do utworzenia narodowości austryjackiéj niemożliwéj, jedności politycznéj, niespójnéj, nie mającéj ani początku, ani podań, tylko przez postrach mogącéj zapalić się walki? Nikt sam siebie nie zabija dla sprawienia przyjemności przeciwnikowi, Węgry nie będą, zaiste, unikały walki z Austrją, z obawy urojonego nieprzyjaciela.

Żaden z projektów będących w obiegu, co do uspokojenia Węgier, nie zasługuje na poważny rozbiór. Bez uspokoiciela, wszelki pokój jest niemożliwy. Mówią o podróży cesarza do Węgier. Przypuśćmy, że istotnie podróż nastąpi, jakież będą jéj owoce? Gubernator, nowi naderspanowie i nieprawni urzędnicy, stanowić będą orszak cesarski; ale, niezawodnie, żaden z mężów o którymby powiedzieć można, że przedstawia mniemanie powszechne, nie pokaże się na jego drodze. Cesarz dowie się, że porozjeżdżali się do swych majątkow, że są zagranicą, że są chorzy i kto wie co jeszcze? zamierzana więc podróż, nie będzie miała żadnego praktycznego skutku.

Toż samo powiedzieć można i o innym projekcie, mianowania arcy-książęcia Rajnerego namiestnikiem i wielkorządcą Węgier, dla utorowania mu drogi do dostojności palatyna. Wolno mu będzie występować z pośrednictwem i z obietnicami ustępstw, ile mu się podoba; nikt słuchać go nie będzie, bo dla uczynienia układów możliwemi, potrzeba zniszczyć robotę reackji zaledwo osnutą, odwołać gubernatora, kanclerza, kommisarzów królewskich nieprawnie mianowanych, słowem, potępić całą świeżą przeszłość i wstecz się cofnąć. Owóż, jak uwierzyć, że rząd chwyci się téj radykslnéj zmiany, bez pewności znalezienia w stronnictwie wyzwoloném mężów, którzyby zechcieli przyjąć posady niezależnych ministrów węgierskich, którzy nie odstąpią na włos od praw 1848 i 1849 r.? Cesarz dobrze to zrozumiał. „Przekonajcie mię, że posiadacie wpływ na kraj, a powierzę wam wodze rządu w Węgrzech, powiedział do dawnego stronnictwa zachowawczego. Żądacie, tak jak i sejm, abym szanował prawa 1848 r. ale nie dajecie mi nic w zamian, prócz obietnicy i to niczem nie zaręczonéj, że utworzycie sobie stronnictwo.“ Rzeczy tak stoją.

Co do konferencij Kalksburgskich, hr. Apponyi i zwolennicy dyplomatu październikowego, ujrzeli się zniewoleni zadać dziennikom centralistowskim najwyraźniejsze kłamstwo.

Powiedziałem wyżéj, że arystokracja węgierska, chociaż najbardziéj zachowawcza—jest konstytucyjną; krzywdziłby ją każdy, mając za wsteczną. Ktokolwiek choć trochę zna Węgry, wie, że pierwiastek wsteczny i reakcyjny jest tam niemożliwym. Reakcja gnieździ się wyłącznie, w arystokracji biurowéj, w rodzinach mieszkających w Wiedniu, należących do dworu a i tym nawet wiadomo, że Węgry tylko konstytucyjnie rządzonemi być mogą.

To co tu powiedziałem znajduje potwierdzenie w rozbiorze prośby, rok temu prawie, przez kongres serbski zaniesionéj. Cesarz, otrzymawszy wykład krzywd i życzeń Serbów Węgierskich, naznaczył kommisję śledczą. W téj kommisji zasiadają: minister stanu Schmerling, kanclerz węgierski hr. Forgach i biskup serbski Maschirewicz, świeżo mianowany administratorem greckiego karłowickiego arcybiskupstwa. Prawie we wszystkich szczegółach urządzenia Serbji, kommisja była z sobą zgodna, zdawałoby się zatém, że cała rzecz będzie ukończoną, ale bynajmniéj, postrzeżono się prawie w ostatniéj godzinie, że kommisja dalszą jest, niż kiedykolwiek, od porozumienia się, nie co do saméj treści, lecz co do formy.

Po sporządzeniu raportu, minister stanu znalazł, że gabinet uczyni z niego właściwy użytek; przeciwnie hr. Forgach, trzymając się postanowienia swojego poprzednika, zaprzecza gabinetowi i władzy wykonawczéj wszelkiéj kompetencji, utrzymuje, że przedmiot należy jedynie do sejmu, a więc i raport przedstawić mu potrzeba pod formą przełożenia królewskiego, czyli innemi słowami, pod formą projektu do prawa. Minister stanu ze swojéj strony, lubo pozornie tak konstytucyjny, całą tę rzecz pragnie zostawić władzy absolutnéj. Oczywista, są to żarty z rzeczy najpoważniejszych, jest to zamiar uwiecznienia pierwiastków niezgody i drażliwości, jest to nakoniec cała stara polityka z duszą i ciałem.

Gazeta wiedeńska umieszcza następny list, na który zwracamy uwagę czytelników:

„Rozmaite dzienniki, krajowe i zagraniczne, zajmują się konferencją, która miała rzekomo mieć miejsce w moim domu wiejskim w Kalksburgn; niektóre zaś poszły tak daleko w tym względzie, że nawet ogłosiły postanowienia, na téj konferencji jakoby, zapadłe. Nie zwracam najmniejszéj uwagi na wieści, o których nasze węgierskie dzienniki, przyznaję to z wdzięcznością, wspomniały bardzo oględnie, i nieznalazłbym za przyzwoite tłómaczyć się w téj mierze, gdyby jedno z czasopism wiedeńskich nie ośmieliło się twierdzić, że wszystko co o téj konferencji mówiono, jest najprawdziwszém, a więc rozszerzanie tych błędnych pogłosek, zdaje się, iż przypisać należy pobudkom zupełnie dla mnie tajnym. Sądzę więc być koniecznem, dla uniknienia wszelkiego błędu i nieporozumienia, oświadczyć, że wieści o mniemanéj konferencji w Kalksburgu i o zapadłych na niéj postanowieniach, są wierutnym wymysłem. Wiedeń 22 stycznia 1865 r.

Hrabia Jerzy Apponyi.“

Wiedeń, 26 stycznia. Postanowiono nakoniec ostatecznie utworzyć osobne ministerstwo marynarki. Wszakże ten nowy wydział nie będzie zarządzany przez osobnego dostojnika, lecz minister wojny, albo minister handlu, obejmie jego kierunek.

Kontr-admirał Wüllerstorff wyprawiony został do portów francuzkich i angielskich, dla obejrzenia zakładów morskich; wyjechał już do Marsylji.

Cesarz podpisał dekret ustanawiający kanclerstwo kroackie.

Gazeta wiedeńska oznajmuje szereg złożenia z posad wielu wysokich urzędników węgierskich. Podług urzędowych wiadomości pomieszczonych w budżecie, wojsko austryjackie na stopie pokoju, liczy: czterech feldmarszałków, 11-tu feldcejgmistrzów, 64-ch jenerał-poruczników, 128-miu jenerałów brygady, 259-ciu pułkowników 269-ciu podpułkowników, 764 majorów, 2775 kapitanów pierwszego i 1483 kapitanów 2-go stopnia, 4831 poruczników, 6849 podporuczników, 31 głównych i 1296 zwyczajnych kowalów i robotników, 38,048 podoficerów, 4570 uczniów 232,449-ciu żołnierzy, 16,000 posługaczów, 61,993-ch inwalidów i wysłużonych, w ogóle 380,469 ludzi; nadto 48728 koni i 1686 bydląt pociągowych.

Dnia 26-go stycznia. Dziennik *Pątnik* pisze co następuje:

Dowiadujemy się z pewnego źródła, że gabinet doradzał zupełną rehabilitację barona Pillersdorf i że n. pan na to przyzwolił; były kanclerz, a dziś poseł na radę cesarstwa, otrzyma znowu godność tajnego radcy i zostaną mu przywrócone dawniéj posiadane ordery. Również możemy donieść, że minister handlu, hr. Von Wickenburg, obejmuje zarząd wydziału marynarki. Cesarz już to rozporządzenie potwierdził.

Co się tycze twierdzeń dziennikarstwa zagranicznego, o zamiarze gabinetu wiedeńskiego, przesłania do dworów obcych noty, żądającéj rozbrojenia Piemontu, dowiadujemy się, że ta wieść jest bezzasadną.

Dziennik *Wschód i Zachód* utrzymuje, że hr. Rechberg w trzecim wydziale kommisji budżetowéj, miał między innemi oświadczyć: „Polityka austryjacka w tém co się ściąga do arcy-książąt wyzutych z tronów we Włoszech. trzymała się zasad rozsądnych. Gdy w roku przeszłym ich stanowisko było przedmiotem narad między rządem francuzkim i naszym, rząd francuzki radził Austryji wdać sić zbrojnie na rzecz arcy-książąt, ale hrabia Rechberg odrzucił tę radę dodając, że Francję równie jak Austrję ten przedmiot obchodzić powinien i że Francja nierównie ma większą łatwość, dopomnienia się o wykonanie traktatu zurichskiego.

Prusy.

Berlin 28 stycznia. Dekret podpisany przez ministrów domu królewskiego, skarbu i spraw wewnętrznych, oznajmuje, że z powodu koronacji, król raczył nadać książętom von Hatzfeld (z Tachenberg), von Carolat Beuthen, von Lynar, Lichnowskiemu, von Puckler-Muskau, von Rheina, Wolbeck i von Pless, nazwę światłości (serenissimi), którą nosić będą głowy tych rodów.

Gazeta Krzyżowa donosi, że zaprowadzone będą konsulaty pruskie w Jakumana (w Japonji), późniéj w Pekinie, Kantonie i w Tien-Tsin na Chiny.

Czytamy w *Gazecie poznańskiéj* z d. 24 stycznia:

Wczoraj, redaktor *Dziennika poznańskiego* p. Ludwik Jagielski, został z rozkazu trybunału berlińskiego, uwięziony i przewieziony do Berlina. Za powód tego rozkazu przywodzą wytoczoną panu Jagielskiemu sprawę o zamach zdrady stanu.

STANY ZJEDNOCZONE.

Dziennik *Petersburgski francuzki* umieścił następną depeszę do pana Stoeckl, posła rossyjskiego w Waszyngtonie:

St. Petersburg 9 stycznia 1862 r.

„Rząd związkowy nie może wątpić o żywém spółczuciu, z jakiem bacznie zapatrywaliśmy się na rozmaite przejawy zajścia, które w ostatnich czasach, trzymało w niespokojném zawieszeniu uwagę obu światów.

Najjaśniejszy Cesarz Jego Mość, nie przecenił mądrości gabinetu waszyngtońskiego, mając o nim to przekonanie, że w tych ciężkich okolicznościach to tylko radzić będzie, co wskażą uczucia sprawiedliwości i chęci pojednania, oraz rzeczywiste potrzeby kraju.

Z największem więc zadowoleniem Cesarz Jego Mość ujrzał, że sprawdziły się jego przewidzenia, właśnie w postanowieniu przez rząd związkowy przyjętém.

A lubo wiadomość o tém doszła nas tylko przez dzienniki, Najjaś. pan nasz nie chciał spóźnić oświadczenia prezydentowi uczuć, z jakiemi Jego Cesarska Mość ocenia ten dowód umiarkowania i słuszności, zasługujący na tém większą pochwałę im uniesienie narodowe, czyniło je trudniejszém.

Niemam potrzeby dodawać, że wierny zasadom politycznym, których zawsze bronił, nawet wówczas kiedy te zasady były przeciw niemu zwracane, że niechcąc używać na swą korzyść nauk które zawsze potępiał naród amerykański, dał dowód uczciwości politycznéj, jednającéj mu niezaprzeczone prawo do poważania i wdzięczności wszystkich rządów, dbałych o utrzymanie pokoju na morzach i o zwycięztwo prawa nad siłą, w stosunkach międzynarodowych, dbałych o pokój świata, o postęp cywilizacji i o dobro ludzkości.

Najjaś. cesarz jego mość cieszy się nadzieją, że taka sama mądrość i umiarkowanie, jakie natchnęły rządowi związkowemu jego ostatnie postanowienia, przewodniczyć też będą jego krokom w trudnościach wewnętrznych z jakiemi obecnie walczy.

Skutek musiał go przekonać o ile te trudności wstrząsają jego polityczną posadą, o ile zachęcają zachcenia do uszczuplenia potęgi Stanów Zjednoczonych, o ile zatém rządowi zależy aby z nich co najprędzéj wyszedł.

Cesarz jest przeświadczony, że mężowie stanu, którzy potrafili ocenić ze stanowiska tak wzniosłego zewnętrzne polityczne potrzeby swego kraju, potrafią również wewnętrzną swoją politykę postawić wyżéj nad poziom ludowych namiętności.

Zechciéj panie ministrze wynurzyć rządowi związkowemu te życzenia naszego Najjaśniejszego Pana i ponowić wyrazy zadowolenia z jakiem Najjaśn. Cesarz Jego Mość widziałby jednotę amerykańską utrwalającą się przez kroki pojednawcze, zdolne urządzić obecność, bez przekazania przeszłości nasion niezgod i do wrócenia w ten sposób do warunków siły i pomyślności, których dla niéj pragniemy, nietylko ze względu na serdeczne spółczucie łączące oba kraje, lecz jeszcze i z tego powodu, że utrzymanie jéj potęgi obchodzi w najwyższym stopniu ogólną polityczną równowagę. Proszę przyjąć i t. d.

Gorczakow.

DEPESZE TELEGRAFICZNE.

ATENY, niedziela 26 stycznia. Ministerstwo Miaulis uskąpiło i zmienione zostało przez ministerstwo Kanaris. Miały miejsce objawy ludowe na rzecz nowego gabinetu. Załoga jest pod bronią, czaty przeciągają ulice.

PARYZ, piątek 31 stycznia. Depesza wysłana z Konstantynopola, wczoraj dnia 30 stycznia, zapowiada blizkie odpłynienie eskadry tureckiéj pod Antiwari i dodaje, że ta eskadra wysłana jest na brzegi Albanji dla uprzedzenia zdarzyć się mogących wypadków.

BRUXELLA, piątek 31 stycznia. Jeden z korrespondentów paryzkich *Niepodległości belgijskiéj* pisze wczoraj, dnia 30 stycznia, że odbyła się w Tuileries berdzo długa rada ministrów i że pan Thouvenel natychmiast po niéj wysłał gońca do Rzymn, gdzie położenie margrabiego de Lavalette stało się nieznośnem.

BRUXELLA, niedziela 2 lutego. Dziennik *Niepodległość belgijska* donosi, że już po depeszy przesłanéj z dnia 18 stycznia panu Thouvenel przez margrabiego de Lavalette, minister spraw zagranicznych Francji dał papieżowi zapewnienie, że zasada władzy świeckiéj, będzie w każdym razie osłoniona, przez utrzymanie wojsk francuzkich w Rzymie, tudzież, że podobneż zapewnienia zostały udzielone księdzu nuncjuszowi Chigi i w biurach senatu.

LONDYN, środa 29 stycznia. *Zakład Reutera* donosi z Southampton, z dnia 29 stycznia. że pp. Mason i Slidell, kommisarze oderwańców przybyli tam zrana na pokładzie pakiebotu *la Plata.*

Przegląd Literacki.

Dzieła wyszłe w Wilnie w ciągu 1861 roku.

ARTYKUŁ II

Poezja — Dramat — Pamiętniki — Powieść.

Po dramacie, naturalną koleją idzie powieść; ale przed dziełami wyobraźni pierwszeństwo należy się poważnemu pamiętnikowi przeszłości, szacownéj księdze notat, które naoczny świadek spisywał w epoce niezbyt jeszcze odległéj, o miejscach i ludziach żywo nas obchodzących. *Ramoty starego Detiuka o Wołyniu, zebrane przez Antoniego Andrzejowskiego*, tomów cztery (Nakładem i drukiem A. H. Kirkora), zawierają prosty ale sumienny i dobrze napisany memorjał, o rzeczach i ludziach, głównie, Wołyńskich, od r. 1792 do 1831. Autor umiejący patrzeć na rzeczy i dać sprawę ze swego poglądu, zetknął się z ludźmi, których, radzibyśmy poznać bliżéj, pamięta czasy już ponurzone w ocean wieczności, nad którémi mgła niepamięci już rozwinęła swe kłęby. Ojciec autora, naprzód wojskowy, potém kassjer w Banku sławnego Prota Potockiego, nakoniec znowu wojskowy w kawalerji narodowéj, trzymał dzierżawą wioskę pod Dubnem. Widzimy naszego autora, jak mając siedm lat życia, wpisany w poczet kawalerji ordynackiéj, nosi już pałasz i szlify, jak potém z matką i siostrami, chroniąc się zamieszek krajowych, tułając się po Galicji mieszka w domu Unickiego parocha, jak po przejściu pierwszych zamieszek, mieszka z rodzicami na Polesiu, potém w Tuczynie u Michała Walewskiego wojewody Sieradzkiego,—widzimy go, jak się małe pacholę prezentuje Kościuszce, jak potém odbywa szkoły w Międzyrzeczu i po śmierci ojca dostaje się na opiekę Aleksandra Chodkiewicza. Autor jednak nietrudni się wyłącznie własną autobiografją—owszem, nawiasem tylko, kiedy niekiedy wspomniawszy o sobie, rad zbacza do innych przedmiotów i opowiada: już to o straszliwéj sprawie Gertrudy Komorowskiéj, już o mieście Korcu, już o płochości i nieszczęsnéj doli kasztelanowéj Bieżyńskiéj, już o zacnym pańskim domu wojewodów Walewskich w Tuczynie, już o zaborze kraju i nowych organizacjach. Radzi słuchamy tych ciekawych przypomnień, a ciekawość nasza zaostrza się, w miarę ważności osób i wypadków. Oto zaraz, z zajęciem śledzimy wyrazistą a dobrze jeszcze w kraju pamiętną postać, uczonego magnata Aleksandra Chodkiewicza. Znakomity ten Litwin, pan z rodu, poeta i chemik z zamiłowania, sercem dorównywający swoim wysokim przodkom, umysłem wyprzedzający współczesnych, miał za rozkosz życia, wyszukiwać ubogą a zdolną młodzież, ułatwiać jéj wychowanie i kierować dalszy jéj zawod. Znany przyjaciel Mickiewicza, malarz Oleszkiewicz, Dr. Mianowski i wielu innych, jego protekcji zawdzięczają swoją późniejszą wziętość *). Rzecz oczywista, że taki mąż wziąwszy autora na opiekę, nie mógł niepomyśleć o jego wychowaniu. Dostrzegłszy w nim talent do rysunku, zabrał go do Wilna i umieścił u Oleszkiewicza. Autor pozostał w Wilnie.

Mamy kolejno, rys Uniwersytetu wileńskiego z owych czasów, oraz szkice artystycznych i uczonych zgromadzeń. Autor polecony przez Chodkiewicza, zostaje niemal domownikiem w rodzinie Jędrzeja Śniadeckiego, uczęszcza jako wolny słuchacz na prelekcje chemji, słucha wykładu botaniki Jundziłła, zaprzyjaźnia się z uniwersytecką młodzieżą, uczęszcza do towarzystw, nabiera zapału do nauk przyrodzonych, ale rysunki z razu tępo coś mu idą.

Dla nas Wilnian pełne są uroku te karty, na których maluje z miłością tutejszą miejscowość, albo zapisuje wypadki, których był świadkiem, jak np. uroczystość poświęcenia katedralnego Kościoła, bytność Cesarza Aleksandra I i inauguracja Jego portretu. Wezwany przez Chodkiewicza do powrótu, autor zwiedza Dereczyn i jego szacowne zbiory.

Tu w pamiętniku, idą znowu przypomnienia wołyńskie o rozmaitych domach; między innémi zajmuje opowiadanie o pani Grocholskiéj i jenerale Baurze, o pani Płotnickiéj i dworze Stanisława Augusta— ale tłem tego wszystkiego jest dom Chodkiewiczów. Uczony hrabia, dumna ale zacna polska matka matrona jego Starościna Żmudzka, zbiory naukowe, teatr przy którym autor jako dobrze z rysunkiem obeznany, pełni obowiązki dekoratora, zajmują nas jako obrazy domu postępowego magnata za dawnych czasów. Ale los wkrótce rzuca autora na inną, więcéj jeszcze ciekawą dla nas, scenę. „Zmieniło się — powiada — moje położenie, zmieniły się stosunki, i na przeszłe sceny mojego życia zapadła zasłona“. Zbiegiem rozmaitych okoliczności, a głównie, chęcią zdejmowania z natury pięknych widoków powodowany, dostał się do Krzemieńca, gdzie właśnie Czacki tylko co otworzył swoje świetne gimnazjum wołyńskie. Na górach gdzie rysował poznał się z uczniami, następnie z nauczycielami, a gdy zapewniono mu lekcje rysunku, osiadł w Krzemieńcu na stały pobyt. To w najętéj gospodzie, to mieszkał przy zacnych uczniach, ołówkiem i pędzlem opędzając skromne potrzeby życia.

Wieniec koleżeński młodych Krzemieńczan, grono poważnych nauczycieli, szanowne postaci: dyrektora Czecha, prałata Osińskiego, professora botaniki Jaworskiego, stawi autor przed oczami czytelnika. Od Jaworskiego uczy się botaniki, herboryzuje po górach Krzemienieckich, rozrzewnia opowiedzeniem szlachetnego czynu młodego ucznia, opisuje examina roczne, a pojechawszy na wakacje w rodzinne strony, znowu wpada na ulubiony sobie temat, opowiadania, o rozmaitych domach wołyńskich. Na ten raz nawijają mu się pod pióro konkury pana Józefa Steckiego do księżniczki Lubomirskiéj i umorzona szczęśliwie rodowa niechęć; przedmiot któryby wystarczył na parę tomów powieści autor traktuje z upodobaniem,— i niedziw: do opowiadania wchodzą znajome mu albo bliskie sercu osoby, a za tło służy promienne dni młodych wspomnienie. Kolejno, autor poświęca znowu kilka kart Aleksandrowi Chodkiewiczowi, jego galerji obrazów w Pekałowie i wesołym tamże zabawom, potem stronom Podolskim, rodzinie Gadomskich i innym sąsiednim, obywatelom. Nas mocniéj niż to wszystko obchodzi, następujący potem ustęp jego opowiadania. Jestto rok 1809, ważny w dziejach Europy i w życiu Krzemienieckiéj szkoły (Tom II rozdz. VIII). Mury gimnazjalne wznoszą się i rozszerzają, grono znakomitych professorów przybywa uświetnić zakład, zjeżdża na cztery tygodnie kurator Czartoryski, komissja sądowa edukacyjna rozpoczyna swe prace, mnóstwo zamożnych obywateli wołyńskich osiedla się w Krzemieńcu, a Czacki jak anioł stróż wszędzie obecny, wlewa natchnienie w każdy szczegół swojego dzieła. Niepodobna nam w pobieżném sprawozdaniu wszystkiego opowiedzieć, ani powtórzyć za autorem scen wzniosłych i prawdziwie rzewnych, jakiemi autor swoje karty uświetnia. Posiedzenie Komissji z mową Czackiego, piękne znalezienie się prefekta Jarkowskiego z niekarnymi uczniami, hołd znakomitym professorom, jak Osiński, Słowacki, Feliński, okrzyczane ale myślą obywatelską natchnione bale Krzemienieckie, roczne publiczne popisy, processje, wszysko to skreślone piórem żywém i kochającém, uobecnia nam tamte dobre czasy i tamtych niepospolitych, a w pamięci wiekować mających, ludzi. Kto kocha tamte czasy i tamtych ludzi, kto się z rysami ich oblicza spoufalić pragnie, powinien nie spuszczając się na chętne, ale pośpieszne pióro sprawozdawcy, parę razy z uwagą przeczytać tom drugi *Ramot Detiuka.* Jednodniowe aresztowanie Czackiego i jego wywiezienie do Łucka w r. 1812, na chwilę zasępiają scenę, ale rozmowa twórcy szkoły Krzemienieckiéj z księciem Bagratjonem, w któréj dają się widzieć, z jednéj strony zacna sprawiedliwość księcia, z drugiéj szlachetna Czackiego śmiałość,— na nowo rozjaśniając nam czoła, usposabia do miłego odczytania wzruszających scen rocznego popisu i rozdania nagrod w Krzemieńcu. — W skutek wypadków wojennych, szkoła Krzemieniecka zamknięta, Czacki wyjechał do Tarnorudy, gdzie mieszkali państwo Malczewscy, pokrewni autora Marji a ściśli Czackiego przyjaciele; — autor dzieła, o którém mówimy, nie tylko zwróciwszy na siebie uwagę wiekopomnego ojca Krzemienieckiéj szkoły, lecz zjednawszy ku sobie jego serce, towarzyszy Czackiemu do Tarnorudy. Tu jako naoczny świadek życia znakomitego męża, wyświetla nieznaną jego stronę— życie domowe, pogadanki poufne, przypomnienia dworu Stanisława Augusta i kilka współczesnych anegdot, z których jedna, stanowiąca jakby *pendant* *) z opowiadaniem poprzedniém o pani Płotnickiéj, zajmuje u autora aż 116 stronic. Taż sama historja próżności kobiecej i eleganckiego cynizmu dworu, tylko że panią Płotnickę fale wypadków wyniosły na brzeg dosyć szczęśliwie, bezimienna zaś dama o któréj w tomie III opowiada, przypłaciła hańbą i śmiercią chętkę podobania się ukorowanemu rozpustnikowi.

Po wojnie szkołę Krzemieniecką na nowo otwarto, ale wkrótce wieść o zgonie Czackiego, boleścią kraj napełniła. Hrabiowie Plater i Rzewuski stanęli na czele jako opiekunowie zakładu; zjechały się do Krzemieńca liczne, zamożnych Wołynian domy, rozpoczęły się zabawy i drobne towarzyskie intrygi, które autor z upodobaną sobie szczegółowością opisuje. Tu poraz pierwszy poczynamy się spotykać z zacną postacią szefa Drzewieckiego, pojednawcy małych i większych zatargów szkolnych i towarzyskich, tu się zapoznajemy z poczciwym ale słabego charakteru Dyrektorem Sciborskim i mądrym a szlachetnym prefektem Jarkowskim. Nieporozumienie pomiędzy naczelnikami osłabia karność szkolną, zepsucie pomiędzy młodzież widocznie się wkrada. Taki stan rzeczy trwa do roku 1816, w którym nieco się polepsza. (*d. c. n.*) *Wł. Syrokomla.*

*) Ojciec i dwaj stryjowie tego co to pisze, także winni byli opiekę i wychowanie Aleksandrowi Chodkiewiczowi; jednocześnie hrabia ułatwiał pierwszy prawniczy zawod sławnego potem w Wilnie adwokata Jana Łopatty.

PRZEGLĄD PISM CZASOWYCH.

Gazeta Polska (do 22):

— Według powziętéj wiadomości następujący był ruch pieniężny w kassach groszowych od czasu ich otwarcia aż do nowego roku 1862 a mianowicie: w kassie Cyrkułu I. otwartéj 4 sierpnia r. z. w 3,355 wnioskach, złożono złp. 4,791 gr. 23; w Cyrkule XII otwartéj 30 września w 458 wnioskach złp. 434 gr. 9 wniesiono; w Cyrkule X, w tymże dniu otwartéj w 717 wnioskach, złożono złp. 394 gr. 9; w Cyrkule V, otwartéj w d. 17 listopada w 352 wnioskach złożono złp. 411 gr. 21; w Cyrkule VI, w 188 wnioskach złożono złp. 341 gr. 20 (data otwarcia kassy jak w Cyrkule V); w Cyrkule II, w kassie otwartéj d. 24 listopada, w 91 wnioskach wniesiono złp. 110 gr. 4; w Cyrkule XI, otwartéj w d. 1 grudnia w 219 wnioskach wniesiono złp. 322 gr. 27 i w Cyrkule VII, otwartéj w d. 29 grudnia r. z. w 44 wnioskach, złożono złp. 21 gr. 23.

— We Lwowie rada miejska zajęła się szczerze instytutem Drohowyskim. Instytut ten fundacji śp. hr. Skarbka na który tenże cały swój majątek półtora miljona złr. wynoszący zapisał, a mający być przytułkiem dla 400 ubogich i szkołą dla 600 sierot zajęty pod administracją rządową dotąd nie wszedł w życie, pomimo że już 12 lat minęło od śmierci fundatora. Gmina lwowska szczególnie interessowana w téj sprawie, bo ma prawo umieszczać rocznie 200 ubogich w tym instytucie, daje powód radzie miejskiéj do zajęcia się tą sprawą za pośrednictwem delegacji z 5-ciu członków złożonéj, która popierać ją będzie obowiązana w namiestnictwie i w Wiedniu.

— Piszą z Krakowa pod d. 23 stycznia:

Dzisiaj odbyła się w uniwersytecie Jagiellońskim habilitacja doktorów filozofji Kowalczyka i Stanisława Zajączkowskiego na docentów, piérwszego astronomji, drugiego wyższéj matematyki. Obaj dopełnili przepisów tego aktu z postępem celującym. Skoro tylko otrzymają zatwierdzenie ze strony ministerjum stanu, natychmiast będą mogli rozpocząć wykłady uniwersyteckie jako docenci. Jest to piérwsza w naszym uniwersytecie habilitacja, a tém bardziéj pocieszająca, że się w języku polskim odbyła. W téj więc głównéj szkole krakowskiéj, gdzie nauki matematyczne tak kwitnęły, iż z niéj wyszli Ciołek, Brudzewski i Kopernik, piérwszy znak życia instytucji docentów mającéj się przyłożyć do podniesienia uniwersytetu, wyszedł z nauk matematycznych.

— W kościele katolickim św. Wincentego w Wrocławiu dopuszczono się zniewagi domu bożego. Bitka z ulicy przeniosła się do kościoła i kilku pijaków zbiło w kruchcie i we drzwiach kościelnych jakiegoś dorożkarza, któremu się też krew z nosa puściła i kilka jéj kropel padło na posadzkę kościoła, albowiem skrwawiony zaraz się usunął do kruchty. Natychmiast z nakazu biskupa wrocławskiego ks. Förstera kościół ten jako sprofanowany, zamknięty został, i we czwartek 23 miał być na nowo przez księdza sufragana Włodarskiego poświęcony i służbie bożéj zwrócony.

— Właściciel drukarni w Chełmnie i odpowiedzialny redaktor „Nadwiślanina“ p. Józef Golkowski skazany został wyrokiem sądowym za przestępstwo drukowe na 2 lata 10 miesięcy więzienia tudzież na pozbawienie go przez dalsze lat pięć praw obywatelskich i utratę konsensu drukarskiego za inne zaś przekroczenia drukowe na 3 tygodnie aresztu i 10 talarów. W drodze apelacji kary te zmniejszone zostały do jednego roku więzienia i utraty konsensu bez odjęcia praw obywatelskich. Skazany odwołał się jeszcze do wyższéj instancji.

*) Pendant (pandan) wyraz francuzki, symmetryczne stawienie, odpowiednio sobie, osób albo przedmiotów,— wyraz niezbędny w malarstwie, sztuce dramatycznej, a nawet w poezji, gwałtownie domaga się spolszczenia. Zwracając na to uwagę naszych znawców języka, kiedyśmy łamali głowę, aby od siebie podać dobry wyraz, nasz przyjaciel p. B. zaprojektował wyraz odpowiednik. Nam się to spolszczenie wydaje trafnem.

— Dnia 15 b. m. jako w dzień kończący piérwsze półrocze od zgonu ks. Adama Czartoryskiego zebrali się rodacy w kościele Wniebowzięcia na mszę żałobną, po któréj O. Kajsiewicz mową pogrzebową uczcił pamięć zmarłego. Mowa ta ukaże się wkrótce w zbiorze kazań i mów pogrzebowych O. Kajsiewicza, którego wydanie przygotowuje się w Poznaniu.

— Donoszą z Galicji: Rząd nie dozwolił korespondentom Towarzystwa Rolniczego zajmować się zbieraniem dat statystycznych dotyczących gospodarstwa krajowego w ogóle, i wydaną korespondentom przez komitet Towarzystwa instrukcję poczytał za niebezpieczną i przeciwną statutom Towarzystwa, chociaż rzeczone statuta nigdzie wyraźnie zbierania dat statystycznych nie zakazują. W skutek takiego zawyrokowania zabrano korespondentom Towarzystwa na prowincji wszystkie przepisy ściągające się do ich czynności i zarazem nakazano komitetowi przedłożyć wszystkie akta do tegoż odnoszące się przedmiotu, czyniąc od załatwienia téj sprawy zawisłe przyszłe ogólne zgromadzenie Towarzystwa gospodarskiego lwowskiego.

— W Pradze Czeskiéj jeden z przebywających tam obecnie naszych rodaków, czyniąc za dość życzeniu mieszkańców tego miasta, ma rozpocząć prelekcje historji polskiéj.

— D. 17 b. m. przeniósł się do wieczności w Warszawie znany ze swych prac naukowych Jędrzéj Franciszek Kucharski. Urodził się ten filolog przy końcu listopada roku 1795 z ojca Pawła i Elżbiety z Papieskich, właścicielki wsi Papieże, w Radomskiem, niedaleko miasteczka Pajęczna, w obwodzie Piotrkowskim. Brat starszy Aleksander, zajmował się z początku domowem jego wychowaniem w Jedlińskiéj Woli; potém Andrzeja oddano do gimnazjum w Piotrkowie, gdzie pięć klass ukończył. Gdy w roku 1812 nanowo uorganizowano szkoły i gimnazjum Piotrkowskie zamieniono tylko na szkołę wydziałową o 5 klassach, wtedy śp. Kucharski został przy tejże uczelni kollaboratorem, i bezpłatnie dawał w dwóch klassach naukę języka polskiego i kalligrafji. Po skończonym roku udał się do warszawskiéj szkoły departamentowéj księży Pijarów. Tu jeszcze uczył się trzy lata i podał się następnie jako kandydat, do stanu nauczycielskiego. Przy zdawaniu examinu „dojrzałości“ (maturitatis), napisał rozprawę o potrzebie języka greckiego, która mu zjednała imię zaletne w obec członków komissji ówczesnéj oświecenia publicznego. Będąc jeszcze w Piotrkowie, przejrzał dwie tamtejsze bibljoteki i skrzętnie tytuły czytanych dzieł zapisywał. Z tego ułożył rodzaj katalogu, który na ręce ks. kanonika Czarneckiego, professora literatury polskiéj u księży Pijarów złożył dla śp. Bentkowskiego, jako autora dziejów piśmiennictwa narodowego, zaledwie tylko w „spisie dzieł“ wystawionego. Zostawszy w 1816 r. zastępcą professora szkoły departamentowéj w Lublinie, dawał w trzech najwyższych klassach naukę języków starożytnych, w niższych zaś historję powszechną i język ojczysty. Oprócz tego był, bez żadnéj nagrody, bibljotekarzem szkolnym, jak świadczy programmat nauk 1817 r. wydany w Lublinie. W następnym roku, otrzymał od komissji oświecenia publicznego stypendjum, aby mógł słuchać wyższych nauk w nowozawiązującym się uniwersytecie Warsz., oraz pozwolenie zostania kollaboratorem przy liceum Warszaw. Kiedy zaś władza uniwersytecka w następnym roku wydała polecenie, aby słuchacze najwyższéj w kraju uczelni, niepełnili żadnych innych obowiązków ubocznych, mogących im przeszkadzać w doskonaleniu się własnem, wówczas i Kucharski musiał pożegnać się z obowiązkiem spółpracownika licealnego. Za 800 złp. pomocy rządowéj rocznie, bez wszelkich innych dochodów własnych, nie mógł się dłużéj śp. Kucharski utrzymać w uniwersytecie Warszawskim nad dwa lata. W 1820 i 1821 roku, jak świadczą programmata szkoły wojewódzkiéj Płockiéj, odsługiwał krajowi dwuletnie wsparcie, jakie z funduszów publicznych odbierał, pełniąc obowiązki nauczyciela literatury łacińskiéj, greckiéj i języka polskiego. Pragnąc zawsze wyższego ukształcenia naukowego, z Płocka przybył do Warszawy z chlubnemi świadectwami Morykoniego i Lindego, a za pośrednictwem tego ostatniego otrzymawszy nauczycielstwo w szkole ewangielickiéj tutejszéj, został znowu dwoistym wykonawcą obowiązków i słuchacza uniwersyteckiego, i zastępcy professora publicznego. Po skończeniu kursów akademickich, otrzymał w następnym roku stopień Magistra nauk i sztuk pięknych. W roku szkolnym 1822 i 3 polecono mu udać się do Kielc na professora b. szkoły wojewódzkiéj, potém był powtórnie przez 2 lata w Lublinie i rok w szkole wojewódzkiéj Kaliskiéj. Od dnia 4 sierpnia 1825 do 1831 roku przez lat cztery podróżował po słowiańszczyźnie; odwiedził wtedy Moskwę i Petersburg. Miał odkryć w téj wycieczce naukowéj napisy runiczne w Syrji południowéj na dwóch hełmach, które wyczytywał od prawéj ku lewéj stronie, jako starożytne Etrusków pisma. Listy ze swéj podróży posyłał do dzienników polskich. „Tygodnik Petersburgski“ drukował w 1830 roku wiadomości jego o literaturze czeskiéj, również i ówczesny Warszawski „Powszechny Dziennik krajowy.“ Skończył śp. Kucharski swój zawód nauczycielski, jako professor gimnazjum naprzód przy Lesznie od 1833 r. a potém w gubernjalnem Warszawskiem i tu otrzymawszy emeryturę, nie opuszczał już nigdy naszéj stolicy, tém bardziéj, że żona zmarłego przez znaczny czasu przeciąg kierowała wzorowym instytutem prywatnym płci żeńskiéj, w którym przez czas krótki i sp. professor niektóre wykładał przedmioty. Nieposiadał jednak, obok wysokiéj nauki, wyższego daru nauczania i wykładu. Zatopiony w swych badaniach filologicznych więcéj kochał naukę dla saméj nauki, niż dla jej udzielania, a zawód pedagogiczny, jako środek konieczny dla życia uważał.

Od bardzo młodego wieku oddany pracom literackim, został w 1820 roku członkiem Towarzystwa Płockiego przyjaciół nauk. Jeszcze w programmacie lubelskim drukował 1825 roku tłumaczenie Zaborowskiego Ortografji polskiéj, oraz wiadomość o jego życiu podał. W numerach 26, 28, 29 i 32 gazety literackiéj Warsz. rozbierał krytycznie dosyć, jak na on czas, grammatykę nową Mrozińskiego, która tak wielkiego między językoznawcami narobiła hałasu wtedy (1822 r.). Będąc w Kielcach pisał już badania nad językiem Sanskryckim w rodzaju Skorochoda Majewskiego i Pietraszewskiego i złożył swe prace nad dialektami słowiańskiemi dyrektorowi wychowania ówczesnego J. Kalas. Szaniawskiemu. To mu otworzyło potém drogę do zwiedzania Słowiańszczyzny. W tych wycieczkach jednak mniéj widział od głośnego poprzednika swego Zorjana Dołęgi Chodakowskiego (Adama Czarnockiego), a widział mniéj dla tego tylko, że się grzebał więcéj w papierach, że odwiedzał raczéj z zamierzchłemi wyobrażeniami uczonych, niż żył wśród ludu, którego narzecza, obyczaje i zwyczaje powinien był poznać.

Z innego za to względu śp. Kucharski, godzien wielkich pochwał. Nieprzyjaciel germanizmu, kochał się namiętnie w pamiątkach przeszłości. Ta namiętność czasem pozwala mu widzieć i tam nawet Słowianizm, gdzie on najmniéj dla wszystkich był wydatny. Ale to są pono usterki pospolite wszystkich ludzi gorąco-fachowych.

Poprawiwszy dawniejszą rozprawkę swoją programmatową z r. 1825, wydał ją oddzielnie pod napisem:

„Księdza Stanisława Zaborowskiego Ortografija polska z łacińskiego na polski język przełożona, z przydaniem uwag tłumacza, tudzież ortografji Seklucjana i spisu bibliograficznego grammatyk i słowników polskich.“

W roku 1838 ogłosił drukiem w Warszawie: „Najdawniejsze Pomniki Prawodawstwa Słowiańskiego“ z kartą napisową we czterech językach. Tu się mieści i „Prawda ruska,“ według Kołajdowicza z uwagami Wacława Aleksandra Maciejowskiego i śp. Rakowieckiego. Nagrodzony został w roku 1841 za tę pracę orderem św. Stanisława.

Na posiedzeniu publicznem, przy zamknięciu rocznego nauk biegu, czytał rozprawkę: „O Pamiętnikach Janczara Polaka,“ którą 1840 r. wydrukował Skimborowicz „w Piśmiennictwie krajowem“ w Nr. 34. Dowiódł tutaj, że owa historja neb kronyka turecka, wyszła po czesku w Litomyszlu 1565 r.

W roku 1849 wyczytał napis na chrzcielnicy św. Jana w Toruniu, i z podobizną (fac simile) owoczesnych głosek wytłoczył w bibljotece Warszawskiéj 1850 r. w tomie drugim w artykule pod tyt.: „Najdawniejszy zabytek Polszczyzny.“ Doszedł z tego napisu, że kościół świętojański w Tarnowie Mazowieckim, (czyli Toruniu) zbudowany jeszcze przez rokiem 1222, nim miasto przywiléj najpierwszy otrzymało.

W ostatnich czasach pracował nad słownikiem nazw jeograficznych wszelkich miast i wiosek należących niegdyś do Słowian. Szkodaby wielka była, gdyby te bogate zasoby zmarnować się miały po jego skonie. Pisaliśmy już o tém szczegółowo przed dwoma laty w gazecie Codziennéj, do któréj także pisywał artykuły, równie jak i do innych czasopismów. Śp. Andrzéj Kucharski zostawia dwie córki, z których jedna jest zamężną.

— Piszą z Paryża d. 18 b. m.

Wczoraj (17go) o 6 wieczorem, strzałem z pistoletu na progu domu gdzie mieszkał, Walenty Zakrzewski w Paryżu życie sobie odebrał, pozostawiwszy listy do przyjaciół — mianowicie do panny Marji B, — do pana C. N. Nikt nie jest w stanie dotąd żadnego samobójstwa ostatecznéj naznaczyć przyczyny, bo albo mało się jeszcze zna „człowieka naturę“, albo się nie dość kocha człowieka jako „społeczności członka“; albo nie dość zna się i „społeczność“ samą. Zeszły z tego świata całe życie swoje był szlachetnym człowiekiem, a pod ostatnie czasy gorąco religijnym — mało jest bezsławnych uczęstników dzisiejszéj literatury Polskiéj, którzyby tyle umiejętności posiadał, ile on ich posiadał, mianowicie języki starożytne i nowożytne, prawo i literatur znajomość i historją. Od świadomszych piśmiennictwa bieżącego a summienych ludzi, wygląda się spisu tłómaczeń i uczestnictw publicystycznych ś. p. Walentego Zakrzewskiego. My tu tylko widzieliśmy usiłowania szlachetnéj energji w obliczu społeczeństwa arcy-realnego; tak jak gdyby spotykanie się jeźdźca na arabskim koniu z puszczoną w ruch lokomotywą! Obecność niniejsza skoro na siebie się ogląda domacać umie tam i owdzie uwyraźniających pochód jéj typów — nigdy pono lepiéj jak dziś na polu krytyki nie wyjaśniono co jest Hamlet ?... w literaturze ! „W literaturze“ mówię, albowiem w życiu nie mniemam, aby wiek obecny na korzyść téj natury istot wydał postać podobną do Ś. Wincentego a Paulo względem opuszczonych dzieci... Jakkolwiek zdawałoby się, że całe pokolenie jedno gdzieś się podziewa. Zeszły z tego świata pod ostatnie czasy opiekował się maleńką córeczką wyrobnicy paryzkiéj — wiadomo, iż nie odebrał sobie życia w mieszkaniu swojém, ale na bruku tego miasta; jedynie z przyczyny, aby służącym miejscowym przez nieporządek skonu swego nie robić kłopotów i nie przysparzać pracy. Szlachetna delikatność do takiego posunięta stopnia zaiste że w spotkaniach się z tak zwaną dzisiejszą realnością i jéj granitem serca, mogła była wyrobić żywot tragiczny— tak się stało !... Błędne jest mniemanie, jakoby same trudności położenia przyczyną były tego czynu; albowiem, na parę dni przed tém familja zmarłego pośpieszyła z wystarczającymi w tym względzie rękojmiami zgłosić się. Niepodobna jest wyobrażać sobie, iż brak religijności stał się tego nieszczęścia źródłem, a nie godzi się wnosić, że religijności zbytek był tu przyczyną: téj albowiem umiarkowanie „jest w niéj saméj“ i od naszych łokci nie zależy. Słowem, gdyby indywidualność nie była zarazem i społecznością — gdyby, mówię, osobę samą tylko oderwanie bacząc, można było w zupełności ocenić; tedy nie znalazłoby się żadnéj przyczyny tragicznego zgonu ś. p. Walentego Zakrzewskiego — „passus est“... *Cyprjan N.*

— Czytamy w artykule redaktora:

Ostatni zeszyt Magazynu Literatury Obcéj (M. für die Literatur des Auslandes) po dwakroć zaczepi drażliwą kwestję stosunków między - narodowych Słowiańszczyzny z ościennemi krajami. Piérwszy z nich jest niby rzutem oka na ideę panslawizmu i sądem o niéj aczkolwiek nie dosyć udowodniowym, ale dość sprawiedliwym. Autor ojczyzną panślawizmu oznacza Czechy, rodzicielami idei czyni Hankę i Kollara, nie widzi w tém podstawy i przyszłości, ale ogranicza się małą liczbą faktów i okazuje, że głębiéj w rozpoznanie ich nie sięgnął. Jak wszystkie panacea i ta myśl niemieckiemu pisarzowi zdaje się niemożliwą; my tylko dodamy, że teorje tego rodzaju na nic się nie przydają i teorjami „a priori“ nic się nie dokonywa. Małżeństwa ludów jak małżeństwa ludzi, z góry przez rodziców układane, najczęściéj się nie powodzą. W drugiém miejscu dosyć oryginalną jest skarga na wypieranie zewsząd germanizmu, który ubolewa, że jest prześladowanym.

„Niebezpieczeństwo coraz większe, powiada redaktor, że wkrótce Niemcy zostaną wyparci z Austrji, że Austrja będzie wyciśniętą z Niemiec... Już dziś Niemcy w Tryeście, mieście związkowém niemieckiem, wyparci są przez Włochów, w Lublanie stolicy Krainy przez Słowian wyciśnieni zupełnie, a wkrótce z Pragi także starego grodu Kurfürstów przez Czechów będą wygnani. W 1861 udało się pp. Wencig i Spółce, prastare niemieckie szkoły mieszczańskie i gimnazja zczeszyć, w r. 1862 przychodzi koléj na uniwersytet Pragski. P. Skriwan stara się aby examen rigorosum w oddziale prawnym nie inaczéj jak po czesku był zdawany, wzywa współobywateli aby z nim wspólnie dopominali się o to, i mówi głosno o Niemcach, jako o obcych i przybyszach, których się pozbyć potrzeba.“

Gdybyśmy się policzyli nawzajem z ilu stanowisk Słowian wyparli Niemcy?? i jakiemi srodkami to dokonali??

— D. 22 b. m. o godzinie 5-téj rano, zmarł nagle Heronim Łabędzki vice-dyrektor wydziału górnictwa, przy kom. rządowéj przychodów i Skarbu.

— W d. 16 b. m. zmarł we Lwowie w 86 roku życia Djoniny Zubrzycki, autor wielu dzieł z pomiędzy których godniejsze uwagi w języku polskim są: Kronika miasta Lwowa i historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji.

— Uczony profesor lwowski Nowicki, pracuje obecnie nad obszerną i całkowitą monografją motyli polskich, która zdaniem znawców ma być arcydziełem w literaturze przyrodniczéj polskiéj.

— Wkrótce ma się ukazać z druku praca p. Teofila Borzęckiego nauczyciela w Kielcach, nosząca tytuł: Logika popularna poprzedzona krótką historją duszy.“ Podający tę wiadomość w Gaz. Polsk. utrzymuje, że „dotąd *prócz tłómaczeń logiki Kiesewetera przez F. Sierocińskiego i dawniejszéj jeszcze Jankowskiego*, niemieliśmy żadnego oryginalnego dzieła w téj ważnéj gałęzi wiedzy ludzkiéj.“ Doprawdy mielibyśmy się z pyszna przed światem uczonym, gdyby tylko Sierociński i Jankowski byli u nas przedstawicielami filozofji, a choćby nawet specjalnymi pisarzami logiki dotychczas. Zaglądam do półki filozoficznéj w mojéj skromniuchnéj bibljoteczce, i znajduję w niéj oryginalnych i tłómaczonych dzieł polskich w przedmiocie logiki liczbę następującą: 1) Filozofji część teoretyczna albo uważająca Gotszeda w przekł. bezimiennego, 1760. 2) Logika Kaz. Narbutta, 1766. 3) Logika J. Cyankiewicza podług Locka 1784. 4) Logika Kondyljaka w przekł. Znoski, 1802, kilka razy późniéj przedrukowana. 5) Logika ks. Przeczytańskiego, 1816. 6) Psychologja empiryczna i logika ze Snella przez Chojnackiego, 1818. 7) Filozofja umysłu ludzkiego przez Jana Śniadeckiego, 1822. 8) Wykład przyrodzonych myślenia prawideł Dowgirda, 1828. 9) O rozumie ludzkim, jego siłach i t. d. M. Wiszniewskiego, 1848. 10) Myślini Trentowskiego i 11) Logika Józ. Kremera, znajdują się w ręku nawet najpowierzchowniejszego dyletanta filozofji.

— Dowiadujemy się o projekcie dotąd jeszcze pozostającym jako myśl i plan, ku których spełnieniu piérwsze zaledwie poczyniono kroki. Jestto zamiar założenia księgarni ludowéj (elementarnéj)—wyłącznie mającéj na celu ułatwiać ukształcenie włościan i wspomagać pracujących w tym kierunku po wsiach właścicieli i przełożonych. Księgarnia ta ma wysyłać i sprzedawać po jak najtańszych cenach, elementarze, książki, tablice i t. p. przeznaczone dla oświaty ludu i ształcenia czeladzi rzemieślniczéj, służących płci obojga i t. p.

Ma ona prócz tego nabywać od autorów i wydawać swoim kosztem jak najtaniéj książki i dzieła treści odpowiedniéj, ogłaszać o ich wyjściu i rozpowszechniać wszystko co gdzieindziéj w tym przedmiocie wydane być może.

Chce się także zająć przysposobieniem tych często trudnych do zebrania i nabycia drobnych przyborów potrzebnych każdéj szkólce, których wysyłka wiele ułatwi natychmiastowe jéj założenie—(tablic, książek, seksternów, materjałów piśmiennych i t. p.)

Tyle dotychczas wiémy o zamiarze, o którym gdy przyjdzie do skutku bliższą i bardziéj szczegółową podamy wiadomość.

Kapitał zakładowy obrachowany na 40,000 złp. ma już być zaofiarowany przez spółkę w tym celu zawiązać się mającą.

— P. Feliks Berdau, b. sekretarz oddziału nauk przyrodzonych w towarzystwie naukowém krakowskiém i członek towarzystwa zoologiczno-botanicznego w Wiedniu, obecnie nauczyciel botaniki w szkołach publicznych, wypracował teraz „Florę Karpat, Beskidów i Pienninów“ któréj druk już został rozpoczęty.

— Wkrótce nakładem Kaufmana i spółki opuści prassę dziełko pod t. „Nauka obyczajowa dla ludu wiejskiego“ opracowana podług X. Grzegorza Piramowicza.

— We Lwowie wyszedł właśnie drugi zeszyt 16 arkuszowy, krótko a zwięźle opowiedzianych przez H. Schmitta „Dziejów polskich.“ Zeszyt trzeci i ostatni jest już pod prassą.

— „Rocznika leśniczego“ ukazał się ciąg drugi na rok 1862.

KORESPONDENCJA KURJERA WILEŃSKIEGO.

Listy Samotnika

List I.

Nad brzegami Szczary, rzeki ze wszech miar godnéj uwagi i respektu, która wysuwając się z błotnistych zarośli Polesia, płynie z pewną flegmą dla połączenia się z bystrym i arystokratycznym Niemnem, leży miasto powiatowe Słonim, ludne jak na Litwę, bo do 9,000 stałych mieszkańców liczące. Przybywałem do niego, jest temu kilka miesięcy, od strony Kobrynia, pewnego prześlicznego poranku, w chwili kiedy promienie wschodzącego słońca złocisto purpurowym smugiem zwiastowały wejście jego na widnokrąg, rozjaśniając coraz wybitniéj wszystkie kontury obrazu téj pięknéj i żyznéj okolicy. Ale z téj wdzięcznéj poezji, wkrótce wpadłem w prozę, postrzegłszy na samym wjeździe do miasta ruiny klasztoru i kościoła PP. Benedyktynek zanadto świeżego stylu, ażeby mogły być romantycznemi, a zanadto zniszczone, żeby nie wzbudzały w podróżnym mimowolnego zapytania, dla czego budowle murowane i kosztowne nie są dotąd do tylu pożytecznych celów obrócone. Kilka słów wymówionych w téj chwili od wiozącego mnie starego postyljona, przerwało moje myśli. „Ot panie, jakby się te mury przydały na szkoły, gdyby je kiedy przywrócono u nas ! — Jakto, rzekłem, alboż tu szkół nie macie ? — Juźciż są, ale co po nich, kiedy zaledwo trzy klassy, a tak mało i professorów i uczniów, że jakby ich w mieście nie było. Zdziwiłem się, skąd się wzięła taka wiadomość i troskliwość prostego człowieka o szkołach. Ażem się dowiedział, że ojciec jego za świetnych czasów szkół Słonimskich i okolicznych był stróżem w klassach, a on sam będąc małym chłopięciem jako sługa pewnych jak on zwał paniczów uczęszczał już razem z nimi do *Infimy*. I w istocie przepędziwszy czas niejakiś to w samym Słonimie, to w okolicach jego, nasłuchałem się dosyć, żalów i utyskiwań mieszkańców różnego stanu, na niedostatek porządnéj szkoły w tym powiecie. Gdybyż przynajmniéj (narzekano zewsząd) choć tak zwane progimnazjum utworzyć tu, żeby nasze dzieci, zwłaszcza uboższych właścicieli, których tu jest nie mało, mogły znaleźć dobre początki nauk, a potém bez zdawania na nowo egzaminu, za świadectwem szkolném mogły przejść do gimnazjum ! Bo teraz prawdziwie szkoła o trzech klassach, która jest w Słonimie, nie mając przywileju równości z takiemiż klassami w wyższych zakładach edukacyjnych, żadnego pożytku nikomu nie przynosi. Ale Słonim ze swojego środkowego położenia i dla swojéj ludności zasługiwałby na założenie w nim zupełnego nawet gimnazjum. Tkwi dotąd w pamięci wszystkich mieszkańców jego, świetny stan licznych szkół w samym Słonimie i w pobliżu jego, nie dawniéj jak w roku 1829 jeszcze trwających, w których liczna młodzież wszelkiego stanu pobierała nauki i to bezpłatnie. W samym Słonimie księża kanonicy regularni utrzymywali szkołę powiatową o 4 czy 5 klassach, gdzie bywało ze 200 uczniów. Tuż o wiorst 10 w Żyrowicach znajdowała się wyborna szkoła kięży Bazyljanów na stopniu gimnazjum będąca, do któréj co rok z odległych nawet powiatów około 500 młodzieży zgromadzało się, tak że się obok klasztoru utworzyła prędko osada w malowniczém położeniu schludnemi domkami dla studentów zabudowana. Nie dość na tém o mil kilka od Słonima, w miasteczku Łyskowie, księża Missjonarze mieli szkołę zwaną także powiatową, więcéj niż o 200 uczniach. Jest prócz tego fundusz biskupa Horwackiego i szambelana Onufrego Kostrowickiego, w r. 1804 zrobiony na utrzymanie konwiktu na 10 uczniów z ubogiéj szlachty słonimskiéj, przy szkole tego miasta. Nie mała więc jest troska i dla opiekunów téj instytucji, patrzeć na swoich wychowańców, pozbawionych sposobu porządnego kształcenia się elementarnego. Nie dziw zatém, że obywatele Słonimscy uważają siebie za ogołoconych zupełnie ze środków edukacji dla swoich synów, że utyskują na to ciągle, oświadczając że gotowi są nawet ponieść i ofiary jakieś nieprzenoszące ich możności, byleby mieli szkołę wyższą w Słonimie. Teraz jednak uważałem, iż są ożywieni wielką nadzieją osiągnienia celu swoich życzeń gorących i skutku próśb kilkakrotnie, jak oni utrzymują, przez nich do wyższéj zwierzchności szkolnéj podawanych, a to z powodu powszechnéj zmiany systematu oczekiwanéj, w skutek reformy w różnych gałęziach administracji państwa mającéj się zaprowadzić.

Nim się rozstanę z moimi znajomymi Słonimskimi, muszę panu jeszcze jedno opowiedzieć zdarzenie, o którem w mojéj wycieczce letniéj słyszałem. Już nie pamiętam w jakim powiecie jednéj z naszych gubernji, pewien pan X. właściciel małego folwarku, obowiązany był przed dwudziestą laty, podług rozporządzenia marszałka, zsypywać magazyn włościański zapasny do sąsiedniego folwarku pana Q. za kwitem jego. I zsypywał też regularnie, ale gdy przyszły głodne lata, pan X. domagał się u pana Q. o wydanie mu z tegoż magazynu zboża dla wyżywienia włościan. Ale pan Q. miał swoje przyczyny, słuszne czy niesłuszne, niewiadomo, dla których nie chciał się skłonić do żądania sąsiada. Rozpoczął się więc proces między nimi na drodze administracyjnéj. Pan X. karmiąc włościan z własnéj chudoby, przeszedł wszystkie instancje ministerstwa spraw wewnętrznych i oparł się aż o senat, chociaż rzecz była warta wszystkiego rubli srebr. 82 i pół, nigdzie nie przegrał, ale z magazynem się nie zobaczył. Tymczasem pan Q. umarł, a sukcessor jego przedał folwark trzeciéj osobie. Troskliwy o swój magazyn p. X. rozpoczyna znowu proces w sądzie powiatowym, i doprowadza rzeczy do tego, że nowy nabywca dekretem tegoż sądu zostaje zobowiązanym do wynagrodzenia pana X. za ów nieszczęsny magazyn. Nie rad jednak z takiego wyroku, chociaż zrazu przyjął zobowiązanie, zanosi apellacją od dekretu sądu powiatowego do izby cywilnéj, która na nowo odsyła całą sprawę do sądu powiatowego dla dopełnienia jéj, to jest aby między innemi rzeczami zrobić śledztwo, czy podczas głodu pan X. żywił swoich włościan własnym kosztem ? Obeszłoby się bez tego jak się zdaje, bo włościanie żyją chwała Bogu i nie skarżą się wcale na pana X., żeby skąd inąd jak od niego, mieli dostawać chleba powszedniego. Tak tedy dotąd ciągnie się nierozstrzygnięta przez lat kilkanaście sprawa—o cóż ? o 82 i pół ruble— która mogłaby być załatwioną w przeciągu dni kilkunastu najwięcéj. To zabawna przygoda, którejby gdzieindziéj nie dano wiary, a z czém tu są już oswojeni. Jednak pewna i prawdziwa, o czém mnie wszyscy ręczali. I tu jednakże cieszą się nadzieją, że spodziewane reformy w sądownictwie zaradzą nadal takim nadużyciom. Dalszy ciąg postrzeżeń w mojéj wędrówce przeszłoletniéj odkładam do następnego listu.

List z Wiednia.

Wiadomo, że rada państwa w Wiedniu odroczyła swe posiedzenia do 4 lutego r. b., najgłówniéj w tym celu, żeby wybrany przez nią wydział finansowy wypracował sprawozdanie budżetu państwa — i takowe radzie państwa przedłożył. Wydział ten, złożony z 48 członków, podzielił się na 3 sekcje, i pracuje codziennie. Przejrzenie pojedyńczych rozdziałów, okazanie małych usterek, zalecenie tu i ówdzie oszczędności, to są rezultaty dotychczasowéj pracy, ale jak pokryć deficit na r. 1862 bez przeciążenia sił kontrybuentów, tego nie udało się jeszcze odkryć—a cóż dopiero mówić o zmniejszeniu długu państwa $2\frac{1}{2}$ milliardów guldenów wynoszącego. O tém ani myśleć. W tém zjawia się projekt niejakiego pana Karola Maager, który obiecuje i długi wszystkie spłacić i jeszcze nadwyżkę przez tę operację utworzyć. Nie przesądzając: czy Maagerowi udało się znaleźć jaje Kolumba, powiem tylko; że zaintrygował wszystkich finansistów—że jego imię jeszcze z czasów rady państwa wzmocnionéj r. 1860 ma dobry odgłos, że jest człowiek poważny. Petycję tę przedwczoraj wydziałowi finansowemu Maager wręczył, która choćby tylko dla tego godna powtórzenia, że dotąd jéj tekstu dzienniki jeszcze nie podały. Są to tylko główne zarysy projektu, którego rozwinięcie p. Maager od przyjęcia warunków przez się postawionych robi zależném.

Treść podania dosłównie następująca.

Do wydziału finasowego izby deputowanych rady Państwa. Żeby utrzymać równowagę w budżecie państwa nie dość jest, zmniejszyć wydatki tam, gdzie to się da zrobić, ale przedewszystkiém dążyć potrzeba do zmniejszenia długu państwa, który do niezwykłych doszedł do rozmiarów. Starać się więc przedewszystkiem trzeba, żeby ten debet państwowy przez regularne umarzanie, w pewnym przeciągu czasu zupełnie był spłacony. Co do zmniejszenia wydatków, rada państwa poda swoje projekta, jakim sposobem zaś długi państwa bez obciążenia nowego, mieszkańców, bez ukrócenia dochodu wierzycieli publicznego skarbu umorzonemi być mogą, to okaże plan finansowy wysokiéj radzie państwa przedłożyć się mający, którego główne rysy w następujących zawierają się punktach:

Oto mają być w obieg puszczone nowe, procentowe i perjodycznie spłacać się mające obligacje państwa *pod gwarancją* rady państwa, które przez pięć corocznych loterij, publiczności nietylko pewną rentę roczną zabespieczą ale prócz tego dla wielkich korzyści przez krajowe i zagraniczne kapitały poszukiwane będą, i które w przeciągu lat 56 i wszystkie długi państwa umorzą i państwu jeszcze roczny dochód czysty przyniosą. Ten albo do pokrycia potrzeb inny być użytym, albo przez skapitalizowanie na końcu znaczne „activum“ uformować może. Przez wypuszczenie w obieg tych nowych obligacij państwa (Reichsobligationen) mają być te cele dopięte:

A. Jedna część posłuży do wycefania z obiegu wszelkich obligacij dawnych; *t. j.* przez zamianę dawnych na nowe.

B. Druga część ma zadanie, iść w pomoc własności ziemskiéj (Realbesitz), i wspierać gospodarstwo i industrję, te najważniejsze czynniki życia społecznego.

C. Trzecia część tych obligacij ma stanowić rezerwę, żeby przez ich wyprzedanie lub zastaw w czasach potrzeby pieniężnéj, mieć fundusze gotowe—i nie potrzebować uciekać się do nowych pożyczek.

To są główne zarysy tego projektu. Nie jest on wyrachowany na obałamucenie publiczności, spoczywa na prawdach matematycznych. Załączone tabelle i bliższe wyjaśnienia usuną każdą wątpliwość; a jednak przeprowadzenie całego projektu jest możliwém pod warunkami, na których spoczywa kredyt państwa. Trzeba tedy by te weszły w życie, a temi są:

Wzmocnienie i zupełny rozwój życia konstytucyjnego w Austrji, które dopiero się znajduje w pierwszym zawiązku tak, żeby bez żadnéj wątpliwości i *na wieczne czasy* reprezentacji państwowéj przysłuchało prawo wywierania wpływu na *nieodwołalne* ustanowienie cyfry dochodów i rozchodów państwa, tak na wenątrz jak na zewnątrz, tak podczas pokoju jak podczas wojny—żeby tym sposobem

utworzoną została *kontrola prawdziwa*, a nie illuzoryjna, mogąca jedynie zapewnić obligacjom państwa to zaufanie, na jakie dzisiejsze obligi stanu nie zasługują. To postawiwszy *jako conditio sine qua non*, chcę w krótkości skreślić niektóre skutki téj operacji finansowéj.

1) Plan amortyzacji i wylosowania obejmuje całą summę, która ma być użytą do urzeczywistnienia celów sub A. B. C. wskazanych. Nikt nie ma być zmuszanym do brania udziału w téj nowéj operacji. Obligacje te będą miały takie korzyści, że przeprowadzenie projektu pewnie ułatwionem zostanie przez sympatję, którą sobie zjedna, i zaufanie, na które zasłuży. Rząd będzie mógł co do reszty w rezerwie zatrzymanych obligacij spokojnie czekać, dopóki korzyści wszystkie tego papieru się nie uwydatniają, ponieważ będzie pro rata zatrzymanych obligacij partycypował w korzyściach ogólnych.

2) Problemat zamiany wszystkich różnorodnych obligacji w jeden gatunek papieru publicznego ze wszystkiemi korzyściami, które wynikają z takiéj jednolitości, zostanie przez ten projekt finansowy szczęśliwie rozwiązany. Ta okoliczność jako też *gwarancja kontroli prawdziwéj budżetu*, i korzyści wewnętrzne obligów upewnią umieszczenie tego papieru łatwiéj jak każdy przymus.

3) Wielki dług państwowy cięży teraz na każdym poddanym austryjackim, jak Alp. Niema człowieka pojedyńczego, ani stanu, ani korporacji, którymby się udało uchronić od skutków tego złego. Każdy cierpi, a rządu siła i władza słabną codziennie. Wpływ na zewnątrz, rozwój na wewnątrz, równie są sparaliżowane. Wszystkim tym dolęgliwościom projekt finansowy kładzie tamę; bo zmniejsza z każdym rokiem część długu, a na końcu perjodu (a czém są 56 lat w życiu państwa?) cały ciężar zostanie zwalony bez ofiar krajowców, i bez pokrzywdzenia wierzycielów państwa, i jeszcze na potrzeby państwa uzbiera się znaczna rezerwa. Jeśli rząd nie będzie zmuszonym nadwyżkę użyć inaczéj, to byłby postawiony w możności wykupu tych nieruchomości (koleje i dobra koronne) które przez nieszczęśliwy system rządowy, przez administrację finansową *bez kontroli* kotrybuentów prowadzoną, wypadły mu z rąk i ujęły mu dochodów i znaczenia w wielkiéj części.

4) Prawda, że powyższy plan finansowy głównie polega na stosunkach, któreby nie zmuszały rządu do jeszcze większych ofiar na zewnątrz, jak są teraźniejsze, ale zimno rzeczy biorąc, trzeba przyznać, że w miarę, jak się stosunki wewnętrzne polepszą, i wstrząśniennia zewnętrzne mniéj będą niebezpiecznemi a nawet mniéj prawdopodobnemi. W dzisiejszych czasach pieniądz; t. j. możność radzenia sobie samemu z łatwością, jest potęgą—to się okaże w Austrji. Skoro rozporządzenie groszem publicznym będzie pod nadzorem prawdziwym rady państwa, nowy system przyjdzie nowemu gospodarstwu w pomoc; przez co dług państwa corocznie zmniejszać się będzie i państwu otworzą się środki do otrzymania funduszów tanich w przypadkach nadzwyczajnéj potrzeby.

5) Stosunek banku do państwa, mianowicie co do należytości banku, będzie przez tę operację kompletnie zregulowanym. Tym sposobem

6) Poprawienie i utrwalenie stanu waluty samo z siebie nastąpi.

7) Polityczna strona, którą ten projekt ma głównie na celu, jest najwyższéj wartości. Na téj bowiem drodze porozumienie Węgier z rządem jest możliwe. Wiadomo bowiem, że dla krajów do korony ś. Szczepana należących najbardziéj ta ogromna summa długu państwa, którąby im przyjąć wypadało, trudność porozumienia wspólnego stanowiła. Ten projekt ułatwia umorzenie całego długu państwa w przeciągu lat 56. Spór więc ten byłby w najprostszy sposób rozstrzygniętym.

8) Niepodobna w tym projekcie téj okoliczności pominąć, że znaczna część tych obligacij *własności ziemskiéj*, (która dotąd kapitałów nie mogła lub wcale dostać lub tylko pod uciążliwemi warunkami) ma być w ten sposób daną, zeby pożyczający w 56 latach kapitał mogli z łatwością wypłacić. Przez takowe wsparcie gospodarstwa rolnego, dobrobyt narodowy znacznie się podniesie, a tém samém możność kontrybuowania do potrzeb państwa. Dochody publiczne bez nowych wysileń muszą się corocznie podnosić.

9) Przez zrealizowanie tego projektu usuwa się obawa, a nawet powód do zabrania dóbr klasztornych funduszowych etc. (de main morte).

Idea ta wielka jest skutkiem studjów głębokich jednego człowieka, który temu przedmiotowi kilka lata życia poświęcił—i który tę ideę drugi n powierzył i z nimi ją daléj rozwinął, i w ścisłą formę ujął. Projekt ten nie na idealnych, ale realnych podstawach spoczywający, ma być do orzeczenia o jego praktycznéj wykonalności radzie państwa przedłożonym.

Że, jeśli rezultata pomienione istotnie zostaną osiągniętemi, dla państwa to jest dla całości obywateli kraju przez pomnożenie sił żywotnych i otwarcie nowych dotąd nieznanych źródeł etc. etc. wielkie przedstawiają się korzyści, niepodlega żadnéj wątpliwości. Każdy więc nazwie to słusznem: jeśli tak ten człowiek, w którego glowie najpierwiéj ta idea powstała, jak i ludzie, którzy z nim wspólnie nad rozwinięciem tego projektu pracując, ani czasu, ani kosztów nie szczędzili, by ogółowi się przysłużyć, jakąś małą częścią tych korzyści, które z téj operacji spłyną na całe państwo i jéj mieszkańców, byli wynadgrodzeni.

W tém streszczeniu podane są w głównych zarysach tylko te zadania, które przez ten plan finansowy rozwiązanemi być mają, głębsze zaś obrobienie i szczegółowe wykonanie planu, uczęstnicy (Betheiligten) uważają za swój sekret, i dopiero wtedy oświadczają gotowość dania wszelkiéj potrzebnéj informacji i wyłożenia rzeczy, jak najdokładniéj, jeśli im jako wynagrodzenie ich pracy, z całego zysku, który ta operacja państwu w ciągu lat 56 kolejnych przyniesie, 5% przez wysoką radę państwa zapewnione zostaną.

Upraszam tedy wys. radę państwa o zdecydowanie, czy warunek powyższy in principio przyjmuje? w razie przyjęcia o delegowanie komissji, któréj projekt przedłożonym i wszystkie wyjaśnienia dane będą. Czyli komissja nasz projekt przyimie czy go odrzuci, na każden wypadek prosimy o wniesienie go przed plenum wydziału finansowego rady państwa (48 członków), którego decyzji się poddajemy bezwarunkowo. Do tantjemy mielibyśmy tylko w razie przyjęcia projektu prawo, w razie odrzucenia samo z siebie się rozumie—nie; w tym ostatnim przypadku warowalibyśmy sobie tylko prawo zatrzymania tajemnicy co do istoty projektu w ten sposób, jak takowe innym wynalazcom z patentów swobody zwykle służy. *Karol Maager*. Wiedeń, 6 stycznia 1862 r.

Z Nowo-Aleksandrowska.

Najważniejszą przeszkodą w urządzeniu nowych stosunków z kmiotkami naszymi, jest bez wątpienia brak oświaty, obok innych przyczyn wypływających koniecznie z tak długo trwającego poddaństwa. Widzimy, że tam nawet gdzie dziedzice z ojcowską pieczą starali się o materjalny byt włościan, dziś przy zmianie stosunków ufności nie znajdują, chyba z małym wyjątkiem, ale tak małym, że mówić o tém nie warto. Chłopek poczciwy lecz ciemny łatwo daje się obałamucić ludziom złéj woli, szukającym osobistych korzyści choćby ze szkodą bliźniego, rozsiewaczom najniedorzeczniejszych baśni, bo schlebiają jego namiętnościom; nadzieja przyjścia do posiadania na własność ziemi bez pracy, tłumi jego lepsze, szlachetniejsze uczucia; tymczasem opuszczenie się w pracy coraz to większe, rozprzężenie coraz się wzmaga i Bóg jeden wiedzieć raczy na czém się to wszystko skończy. Ciemnota naszego ludu nie dozwala mu rozróżnić fałszu od prawdy, i my i oni tracimy na tém. W tych smutnych okolicznościach, my jako starsi duchowie, powinniśmy wszelkich dołożyć starań aby usunąć przyczynę złego, to jest rozszerzyć oświatę pomiędzy ludem. Dawnobyśmy powinni o tém pomyśléć, łatwiéj to nawet było pókiśmy mieli zwierzchność zupełną nad kmiotkami,—cóżeśmy jednak uczynili?—nic zgoła; uderzmy się w piersi i wyznajmy ze skruchą, żeśmy na ogół więcéj troszczyli się o byt materjalny niż o moralny naszych włościan, i dziś ponosimy karę za grzech nasz. Znajdujemy się w położeniu owych rodziców co to zaniedbali wychowanie swych dzieci a gdy ci dorośli, muszą znosić złe skutki swéj niedbałości. Dziś więc czynnie bierzmy się do pracy, a niech nikt nie mówi że za późno, lepiéj późno niż nigdy; czyż i to nie będzie dostateczną nagrodą jeżeli sumienie nasze nam powie, żeśmy święcie spełnili swój obowiązek. Krzątamy się już też około nauczania dziatwy wiejskiéj, może nie dostatecznie, może nie tak ogólnie jakby należało, staranie jest jednak i możemy liczyć na dobre skutki w przyszłości; młode pokolenie niezawodnie światlejszém będzie, bo sami czują dziś potrzebę nauki, co nawet w starszych wyraźnie postrzegać się daje. Znam nie pierwszéj młodości ludzi, co się wyuczyli lub uczą czytać i pisać, lecz brak zupełny książek litewskich stoi na przeszkodzie dalszemu kształceniu się. Lud nasz po polsku nie rozumie, a tu oprócz kalendarza, kilku książeczek religijnéj treści i kilku innych, żadnéj elementarnéj rozszerzającéj pierwiastkowe wiadomości niema w narzeczu litewskiem. Z doświadczenia mówię o tym braku, gdyż zajmując się uczeniem dzieci wiejskich, nietylko znajduję pilnych słuchaczów w rodzicach, ale często i ostatni proszą mnie o książki, których im dać nie mogę.

W Królestwie pisemka ludowe coraz się mnożą, z tych jednak kmiotkowie nasi korzystać nie mogą, czemuż nie mamy postarać się o zaradzenie temu niedostatkowi? Wprawdzie nie każdy przy najlepszych chęciach może się jąć téj pracy, nie dość znane nam narzecze litewskie, abyśmy mogli w niém pisać; do was przeto odzywam się którzykolwiek władacie umiejętnie tém narzeczem, a zwłaszcza do was, szanowni kapłani, czy byście nie mogli zająć się redagowaniem pisemka perjodycznego w małych rozmiarach, treści pouczającéj i bawiącéj zarazem, w rodzaju naprzykład *Kmiotka?* i to w narzeczu czysto litewskiem, gdyż pisemka w żmójdzkim języku wydawane mało są u nas rozumiane.

Przy takiéj pomocy, łatwoby się dały urządzić Czytania Niedzielne, w każdéj wsi znajdzie się czytający, a słuchających nie zabraknie. Do kosztów wydawnictwa każdy z nas żyjących w bliższych stosunkach z włościanami i czujących potrzebę oświaty chętnie się przyłoży. Zdaje mi się, że projekt mój nie jest do odrzucenia, jak kto może piórem lub datkiem niech raczy przyłożyć się do dzieła, a znajdzie nagrodę we własném sumieniu i we wdzięczności ludu, w którego sercu wiele pięknych przymiotów uśpionych do nas należy rozbudzić. Mam nadzieję, że głos mój nie przebrzmi daremnie i że wkrótce w tychże szpaltach Kurjera wyczytam ogłoszenie prenumeraty na pisemko perjodyczne litewskie, bo piszących w tak pięknym celu, pewno znajdzie się niemało.

Obywatelka pow. Nowoaleksandrowskiego.

ROZMAITOŚCI.

— Podczas grasującéj w upłynionym roku w Londynie szkarlatyny, która i u nas w szeregach młodego pokolenia wielkie zrządziła spustoszenia, lekarze angielscy Dr. Stevens i dr Turly używali z wielkiem powodzeniem środka słynącego tam pod nazwą *Lamplough Pyretic Saline*. Jako niewtajemniczeni w naukę i terminologję lekarską nie możemy objaśnić z czego się składa to lekarstwo—z podanych jednak przez dzienniki wiadomości, możemy objaśnić tylko, że działa głównie przeciw rozkładowi krwi, która w szkarlatynie zmienia zupełnie istotę swoją, tracąc barwiące ją kulki czerwone i przeistaczając się w wodnisty płyn biały, który nie jest w stanie podtrzymać dłużéj sił żywotnych. Nie wiemy, czy ten środek jest pod jakąkolwiek inną nazwą przez lekarzy naszych używany, możemy jednak zapewnić, że poważne dzienniki angielskie nie szczędzą pochwał temu sposobowi leczenia, nażywając go cudownem odkryciem. We wszystkiém a szczególniéj w nauce medycyny doświadczenie gra przeważną rolę—pożądaną byłoby rzeczą gdyby i u nas nie odpychano rad tego starca, co się doświadczeniem zowie, bezwzględu czy ono wyrosło na gruncie rodzimym czy też przychodzi nam z zamorza, cudzym kosztem, cudzą boleścią i trudem zdobyte—a zatém dla nas nie straszne.

— Wydatki na elementarne wychowanie wynoszą na rok bieżący w budżecie miasta Paryża ogromną summę 78,875,000 franków. I nic dziwnego, bo istnieje tam obecnie 419 publicznych i 38 prywatnych zakładów ale pobierających wsparcie z funduszów miejskich, w których bezpłatnie odbiera wychowanie 71,800 dzieci.

— Listy z Waszyngtonu z d. 9 grudnia upłynionego roku donoszą, że panuje tam obecnie niezwykłe ciepło. Muchy huczą w powietrzu a mieszkańcy posilają się w cukierniach lodami.

— *Journal du Havre* podaje za rzecz pewną, że nowy władca Madagaskaru oświadczył przed ojciem Janem, missjonarzem i szczególnym przyjacielem swoim chęć przejścia na łono rzymsko-katolickiego kościoła.

— Ilość złota wydobytego dotąd w kolonjach angielkich w Australji obliczają na 26 milljonów uncyj, czyli 1492 stopy sześcienne.

— Sławny historyk Michelet, przebywający stale w okolicach Tulonu, ukończył obecnie dzieje panowanie Ludwika XIV.

— Niedawno został wzniesiony pamięci John Franklina sławnego podróżnika, który zginął z osadą swoją w wyprawie podbiegunowéj, bronzowy posąg jego, w m. Spilsby w Lincolnshire, w miejscu jego urodzenia. Wykonany został przez p. Bacon i kosztuje 700 f. szt. (4440 rub. sr,).

— W Paryżu wyszły świeżo dwa nowe tomy dzieł pośmiertnych ks. Lamennais'go. Tomy te wydane podług życzenia autora przez p. E. D. Forgues, jednego z najwziętszych redaktorów Revue des Deux Mondes, zawierają „Boską komedję" Dantego tłómaczoną i poprzedzoną godnym uwagi wstępem o życiu, nauce i dziełach wielkiego poety.

—Jabłko od jabłoni niedaleko się toczy, powiada nasze przysłowie, a sprawdzenie go znajdujemy na drugim krańcu Europy, w życiu głośnego dziś obrońcy prawowitości Chiavone. „Illustracja" francuzka w następny sposób podaje rodowód tego bandyty. Ludwik Alonzo, zwany Chiavone, urodził się w r. 1827 w Sorze. Dziad jego Valentino należał do bandy zbójców, która pod władzą Gaetano Mammona czas długi rzucała postrach na miasto i prowincję Sorę. Dziad Chiavona był jednym z pomiędzy najulubieńszych faworytów sławnego bandyty, którego Marja Karolina, żona Ferdynanda IV, nazywała swym mandatajuszem i swoim alter ego, a którego w listach sam król nazywał kochanym jenerałem i drogim przyjacielem Z oszczędzonych łupieży Valentin zebrał tyle, że kupił sobie kawał gruntu i dom wygodny. Syn jego, noszący imię przewódcy i kuma ojcowskiego Gaetano, został po ojcu dziedzicem niewielkiéj fortuny i doczekał się szczęścia być rodzicem Chiavona, który miał wznowić zaszczyty swego dziada. Młodość Chiavona przeszła zwykłym trybem tego rodzaju ludzi: pracował o ile mógł najmniéj, jadł i pił o ile można najwięcéj; zresztą pomiędzy równymi sobie urwisami umiał réj wodzić i pozyskiwać nad nimi przewagę. Wstąpiwszy następnie do wojska dosłużył się tam rangi podoficera; daléj postąpić niemógł. Powrócił więc do Sory i został strażnikiem lasów należących do gminy tego miasta. Wszedłszy na ścieżki wydeptane przez swego dziada i ojca w tych lasach, począł smakować coraz bardziéj w ich zawodzie. Natura wilka pociągnęła do lasu....

—Donosiliśmy w swoim czasie, iż napisany przez Proudhona memorjał, przedstawiający „teorję podatków", otrzymał na konkursie w Szwajcarji drugą nagrodę. Książka ta niedawno wyszło z druku u Hetzela w Paryzu p. t. *Théorie de l'impot*, par P. J. Proudhon; (1 vol. in 8). Autor rozbiera w niéj krytycznie wszelkie rodzaje podatków, z właściwą przenikliwością dopatruje w każdym słabéj strony, i przychyla się ostatecznie do podatku z renty gruntowéj, nim jakiś inny „jedyny" wynaleziony zostanie. Sprawozdawcy francuzcy pochlebnie odzywają się o téj pracy.

— Znamienity zamek heidelberski zagrożony został ruiną. Przez górę, na któréj wznosi się ten stary zabytek wieków średnich, przeprowadzony tunel kolei żelaznéj poruszył fundamenta zamku i ściany pękać się poczęły. Zniszczenie dotknęło najmocniéj części niższych gmachu, jak np. kaplicy, a najbardziéj nadwerężoną została piwnica, w któréj spoczywa snem błogosławionym sławna ze swego ogromu pipa od wina. Konserwator starożytności badeńskich p. von Bayer uznał za potrzebne wysadzić osobną komissję do zbadania stanu zamku i wynalezienia sposobu ocalenia tego pomnika historycznego.

— Kalifornja poczyna na nowém polu zyskiwać prawo do tytułu krainy obfitości. W San-Fracisco znajduje się obecnie tak ogromnéj płodności ogród jakiego gdzie indziéj niewidziano. W roku upłynionym wyprzedano z tego ogrodu 70,000 funtów brzoskwiń, 120,000 f. jabłek i 80,000 f. gruszek, nieliczące już ogromnéj ilości winogron, malin i t. p.

— W Rio-Janeiro powstał niedawno dom obłąkanych, budowa godna uwagi przez swą wspaniałość, ale ciekawsza jeszcze z powodu środków jakiemi ją dźwignięto i dziś utrzymują. Brazylijski minister spraw wewnętrznych, chcąc otrzymać potrzebne na ten cel pieniądze wystawił na sprzedaż ordery. Towar tak się podobał, że zebrano pieniędzy więcéj nawet, niż było potrzeba.

— W Wielkiém Księstwie Badeńskiém wybrany został na deputowanego adwokat Kusel, wyznania Mojżeszowego. Jestto piérwszy Izraelita, który otrzymał wstęp do izb prawodawczych badeńskich.

WIADOMOŚĆ BIBLJOGR. ZA GRUDZIEŃ 1861 ROKU.

1) Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu. Zebrał Antoni Andrzejowski, in 16-mo tom III str. 338, ark. 10 i pół, tom IV str. 193, ark. 6, nakład i druk Kirkora. 2) Życie i pisma Ignacego Chodźki, przez Władysława Syrokomlę, in 16 str. 96, ark. 3, druk Kirkora. 3) Directorium Divini Officii persolvendi, Missaeque Celebrandae, juxta ritum monasticum, ac decreta sacrae rituum congregationis. In commodum Religiosorum Ordinis Sancti Patris Benedicti. In Magno Imperio Rossiae, Pastoralibus sub Auspiciis Excellentissimi, Illustrissimi, ac Reverendis: Domini Domini Adami Wojtkiewicz Episcopi Minscensis, Ordinum Equitis, degentium. Pro anno Reperatae Salutis, 1862 editum, in 12 pag. 72, ark. 3, druk Zawadzkiego. 4) Mysznajot, czyli drugi zakon, część IV, in 4-to, str. 392, ark. 49 i pół, nakład i druk Romma. 5) Katolicyzm i Judaizm, czyli listy Pawła Ludwika Bernarda Drach, pisane do byłych braci izraelitów przek ad z francuzkiego ks. J. K., kan. kat. Żmudz., in 8-vo str. 176, ark. 10 i pół, nakład i druk Zawadzkiego. 6) Krótka arytmetyka ułożona dla żeńskich szkół. Kurs IIéj klassy in 12-o, str. 42, ark. 2, druk Syrkina. 7) Pamiętnik gubernji Wileńskiéj na 1862 roku. Część pierwsza, ułożony za pozwoleniem zwierzchności, przez Wileński gubernjalny statystyczny komitet, in 12-o, str. 183, ark. 8, druk Syrkina. 8) Directorium Divini Officii et Missarum pro Congregatione Canonicorum Regularium Lateranensium in annum 1862. Conscriptum in 8-vo, pag. 40, ark. 2 i pół, druk Dworca. 9) Directorium Officii Divini et Missae Sacrificii ad usum utriusque Cleri Dioecesis Tiraspolensis in annum Domini 1862. Auctoritate et jussu Excellentissimi, Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Ferdinandi Helani Kahn, Miseratione Dei et s. Sedis Apostolicae gratia ex Ordine Praedicatorum Episcopi primi Tiraspolensis, Equitis. Editum in 12, pag. 104, ark. 4 i pół, druk Zawadzkiego. 10) Directorium Horarum Canonicarum et Missarum juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani ac Decreta S. R. C. Ad usum FF. Ord. sss. Trinitatis provinciae s. Joachim conscriptum pro anno Domini 1862, in 12-mo, pag. 47, ark. 2, druk Marcinowskiego. 11) Directorium Divini Officii recitandi Missarumque Celebrandarum ad usum Fratrum ordinis minorum ss. Francisci, Conventualium in Imperio Rossico pro anno Domini 1862, in 12, pag. 60, ark. 2 i pół, druk Marcinowskiego. 12) Masechet Suka, Megila, Szekalim i Beca, czyli trzy talmudyczne traktaty: O budowaniu kuczki, i komentarz świętéj księgi Ester, cz. IX w arkusz, str. 292, ark. 73, nakład i druk Romma. 13) Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Vilnensi in annum Domini 1862. Sub Regimine Excellentissimi, Illustrissimi et Reverendissimi Domini Adami Stanislai Krasiński Dei miseratione et s. Sedis Apostolicae gratia Episcopi Vilnensis, s. Th. Doctoris et Equitis, in 12-o, pag. 150, ark. 6 i pół, druk Marcinowskiego. 14) Directorium Divini Officii recitandi Missarumque celebrandarum juxta rubricas Breviarii et Missalis ordinis Fratrum B. V. D. Genitricis Mariae de monte Carmelo A. Reg. O., in annum Dni 1862 v. s., in 12, pag. 61, ark. 2 i pół, druk Marcinowskiego. 15) Officium albo codzienne nabożeństwo ku większéj czci i chwale Boga w Trójcy świętéj jedynego i niepokalanie poczętéj Najświętszéj Panny Marji Matki Boskiéj, tudzież wielu świętych patronów, zebrane i dla użytku chrześcijan przedrukowane, in 16-mo, str. 354, ark. 11, nakład i druk Solca. 16) Silva-Rerum. Staropolskie powieści K. Wł: Wojcickiego, in 12-mo, tom I str. 256, ark. 11, tom II str. 126, ark. 5 i pół, nakład i druk Zawadzkiego. 17) Nabożeństwo ku największéj chwale Boga w Trójcy świętéj jedynego, Matki Boskiéj, tudzież śś. patronów i patronek, z różnych ksiąg przez kościoł święty potwierdzonych dla pożytku niewiast polskich przez Pewną Damę zebrane, a teraz przez jednego gorliwego kapłana zupełnie przejrzane, mszą świętą z tekstem łacińskim i wielą modlitwami znacznie pomnożone, in 16-mo, str. 887, ark. 28, nakład i druk Zawadzkiego. 18) Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Archidiocesi Mohyloviensi Domini 1862. Sub Pastoralibus Auspiciis Excellentissimi, Illustrissimi et Reverendissimi Domini Venceslai Żyliński Dei miseratione et s. Sedis Apostolicae gratia, Archiepiscopi Mohyloviensis, Metropolitani omnium R. C. in Imperio Rossico Ecclesiarum ordinum: s. Vlodimiri 2 cl., s. Annae et s. Stanislai 1 cl. Equitis in 12-o, pag. 138, ark. 6, druk Zawadzkiego. 19) Seder Techinot Ubakusziosz, czyli modlitwy dla żydowskich kobiet, in 8-vo, str. 24, ark. 1 i pół, nakład i druk Romma. 20) Ogrody północne przez Józefa Strumiłłę, radcę honorowego, Cesarskich towarzystw: Wiejskiego Gospodarstwa, tudzież miłośników ogrodnictwa, rzeczywistego członka i kawalera. Wydanie szóste poprawne z dziesięcią tablicami litografowanemi zawierającemi 70 figur, in 12-mo, tom I str. 384, ark. 16, tom II str. 354, ark. 15, nakład księgarni Rafałowicza druk Syrkina. 21) Kitwe Kodesz, czyli pismo święte, część IV, in 4-to, str. 378, ark. 49, nakład i druk Romma. 22) Megilot Ester, t. j. oddział z pisma święte pod tytułem: Megilot Ester, in 32, str. 32, ark. 1, nakład i druk Romma. 23) Poezje Pawła Kukolnika 1861 rok, in 16-mo, str. 362, ark. 11 i pół, druk Kirkora. 24) Praktyczne gospodarstwo wiejskie do potrzeb miejscowych rolnictwa na Litwie zastosowane, z dodaniem działu o urządzeniu gospodarstwa bezpańszczyźnianego i stosownym podziale gruntów przez Tomasza Snarskiego, in 16-mo, str. 239, ark. 7 i pół, nakład autora druk Kirkora. 25) Directorium Officii Divini ac Missarum ss. pro Dioecesi Minscensi in annum Domini 1862. Sub Regimine Excellentissimi, Illustrissimi et Reverendissimi Domini Adami Wojtkiewicz Dei miseratione et s. Sedis Apostolicae gratia Episcopi Minscensis, ordinum s. Vlodimiri III clasis et s. Annae II clas. Equitis. Cum adprobatione impressum, in 8-vo, pag. 108, ark. 7, druk Dworca.

OFIARY.

Na ochronkę dla dzieci moralnie zaniedbanych w Irkucku, J. M. rs. 1.

TRYBUNAŁ HANDLOWY

w WARSZAWIE.

W rozpoznaniu wniosku sędziego kommisarza massy upadłości Mojżesza Baindurow względem wyznaczenia nowego ostatniego terminu do likwidacji dla wierzycieli niestawających uczynionego. Trybunał Handlowy w Warszawie na zasadzie art. 75 księgi III kodeksu handlowego do likwidacji i weryfikacji wierzytelności w massie upadłości Mojżesza Baindurow dla wierzycieli, mianowicie Izydora Modrzew, Izydora Silberberg, Izydora Rosenbaum, Wincentego Norblin, Aleksandra Jewtow i Iwana Głowaczew w Warszawie zamieszkałych, jak niemniéj dla wszystkich dotąd wcale niewiadomych wierzycieli, termin nowy ostateczny dwu miesięczny, poczynając od daty zamieszczenia tego wyroku w gazetach pod prekluzją wyznacza. Mocą tego wyroku, umieszczenie którego w dzienniku Powszechnym i Kurjerze Warszawskim, oraz w jednéj z gazet w państwie Rossyjskiém wychodzących Syndykowi Kobylańskiemu mecenasowi poleca.

(podpisano:) *Woźnicki* Prezes.

Andrychiewicz podpisarz.

Zalecamy i rozkazujemy etc. etc. etc.

Za zgodność etc. świadczę w Warszawie dnia 28 grudnia (10 stycznia) 186$^{1}/_{2}$ roku.

(L. S.) (podpisano) *Andrychiewicz* p. P.

Podpisany Syndyk, podając do publiczności powyższy wyrok zawiadamia wierzycieli, którzy dotąd do massy upadłości Bajndurowa nie likwidowali się, iż termina stałe do likwidacji oznaczają się w dniu $^{18}/_{30}$ stycznia i $^{14}/_{26}$ lutego 1862 roku w kancellarji Trybunału Handlowego Warszawskiego o godzinie 5-éj z południa.

Piotr Kobylański Mecenas. 2. (20)

ВИЛЕНСКІЙ ДНЕВНИКЪ.

Пріѣхавшіе въ Вильно, съ 22-го по 25-ое января.

ГОСТИННИЦА НИШКОВСКІЙ. Пом. Игн. Чеховичъ.—Черницки.—Довнаровичъ.—Вильг. и Иванъ Вержбовскіе.—Грабовски.—Гр. Чапски.—Брон. Бениславски.—Вишневски.—Поруч. Малаховски.—Полк. Олендзки.—Жуковски.—Ластовски:—Г-жи: Лопацинска.—Бениславска.

Выѣхавшіе изъ Вильна, съ 22-го по 25-го января.

Полк. Дохтуровъ.—Жуковски.—Гр. Морикони.—Гарбовски.—Костровицки.—Ластовски.—Свіонтецки.—Краусъ.—Червински.—Эрдбергъ. — Грабовски. — Домбровски. — Г-жа Лопацинска. — маіоръ Будрецкій.

DZIENNIK WILEŃSKI.

Przyjechali do Wilna od 22-go do 25-go stycznia.

HOTEL NISZKOWKI. Ob. Ign. Czechowicz.—Czernicki.—Downarowicz.—Wilhelm i Jan Wierzbowscy.—Grabowski.—Hr. Czapski.—Bron. Benisławski.—Wiszniewski.—Por. Małachowski.—Półk. Olędzki. Żukowski.—Łastowski.—Panie: Łopacińska.—Benisławska.

Wyjechali z Wilna, od 22-go do 25-go stycznia.

Półk. Dochturow.—Żukowski.—Hr. Morykoni.—Garbowski.—Kostrowicki.—Łastowski.—Swiątecki.—Kraus.— Czerwiński.— Erdberg. Grabowski.—Dąbrowski.—Pani Łopacińska.— major Budrecki.

Печатать позволяется. Вильно, 25 Января 1862 г. — Цензоръ статскій совѣтникъ и кавалеръ А. *Мухинъ*. W drukarni A. H. Kirkora.